молодежи... Члены нашей комиссии нередко проверяют, как соблюдается трудовое законодательство на предприятиях нашего района в отношении молодежи, особенно несовершеннолетних ребят. Проводим рейды в вечерних школах. И часто, отчитываясь перед избирателями, я получаю наказ вмешаться в чью-то судьбу... Мне кажется важным научить взрослых, тех, с кем сталкивается подросток, почувствовать себя причастными к его судьбе. И, главное, активно причастными. Это то самое дело, которым я буду жить завтра и всегда».

Атмосфера доверия к молодежи, привлечение ее к серьезным общественным и производственным делам часто служит толчком для широкой молодежной инициативы, которая не только оборачивается пользой для дела, но и становится серьезным шагом на пути к гражданской зрелости.

«Однажды,— рассказывает рабочий из Чернигова Е. Монтин,— я созвал членов своей бригады (тогда работал на строительстве Саратовской ТЭЦ) и предложил им написать свои соображения насчет улучшения организации труда, производства. И вот каждый написал свои замечания. Мы их назвали «рабочими письмами». Всего их было 42. Руководителям стройки представили конкретный план исправления ряда недостатков. Они с пониманием отнеслись к этому начинанию, поддержали большинство наших предложений. Потом все они были воплощены в жизнь. Ясно, после этого забота рабочих о производстве еще более возросла.

Мне кажется, что нашим опытом могут воспользоваться и другие коллективы. Предложение трудящихся — серьезная помощь в хозяйственной деятельности и, что еще важнее,— в воспитании коммунистического отношения к труду. Поэтому хочу обратить внимание на статью 49-ю проекта Конституции СССР, которая звучит так: «Каждый гражданин СССР имеет право вносить в государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе...». Считаю, что всем надо активнее использовать предоставленное право».

К слову сказать, только в минувшем году на одной лишь Украине через постоянные комиссии местных Советов к участию в решении важнейших вопросов государственного строительства было привлечено около 300 тысяч юношей и девушек.

А вот какие результаты приносит сотрудничество молодых депутатов с комсомольско-молодежным активом.

Депутат Верховного Совета РСФСР, член Курганского обкома ВЛКСМ Валентина Беляева, выполняя наказ избирателей, вместе с активистами внимательно изучила возможности города по расширению сети дошкольных учреждений. После чего в городе Шадринске было реконструировано два и построено три детских сада на 140 мест каждый. По инициативе комсомольца Владимира Маргина (он второй раз избирается депутатом Кыштымского городского Совета депутатов трудящихся) были скооперированы средства нескольких предприятий города для строительства спортивных сооружений. Совместно с городской молодежью Владимир проверил, как используются спортивные сооружения и площадки в зимнее время. Подготовлены серьезные предложения, которые будут рассматриваться на одном из очередных заседаний исполкома.

Каждодневная депутатская деятельность по наказам избирателей и опора в активной советской работе на молодежь помогают молодому депутату постоянно быть в курсе нерешенных проблем и утверждаться как общественному деятелю.

Депутат Верховного Совета СССР, бригадир комсомольско-молодежной хлопководческой бригады Н. Акматжанов говорит: «На мой взгляд, наказы избирателей для депутата должны быть основой плана его деятельности. Но бывает, что не всегда удается быстро выполнить наказ. Случается, в иных организациях, в которые обратишься, приведут десяток якобы объективных причин, чтобы ответить отказом. Но, встретившись с рутиной и косностью, депутат не имеет права опускать руки. Избиратели ждут от своего избранника конкретного результата. Поэтому я хочу особо обратить внимание на статью 101-ю проекта Конституции: «В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей». Было бы уместно в этой статье записать, что выполнение наказов избирателей составляет основу обязанностей депутата. Это одна из важнейших, предусмотренных законом сторон его деятельности».

В проекте новой Конституции содержатся положения, которые предоставят молодежи еще большие возможности для широкого участия в управлении делами общества и государства, высокопроизводительного труда, успешной учебы, активной общественной деятельности.

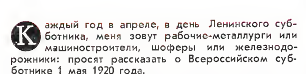
«Нужно,— сказал Леонид Ильич Брежнев,— чтобы каждый советский человек ясно сознавал, что главная гарантия его прав в конечном счете — это мощь и процветание Родины. А для этого каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность перед обществом, добросовестно выполнять свой долг перед государством, перед народом».

Молодежь в СССР окружена отеческой заботой Коммунистической партии, ее Центрального Комитета. Мы испытываем повседневное внимание, заботу старших товарищей-коммунистов. Мы гордимся тем, что, несмотря на свою чрезвычайную занятость важными партийными и государственными вопросами, Леонид Ильич Брежнев постоянно находит время, возможности для того, чтобы внимательно следить за делами комсомола, оказывать нам практическую помощь и внимание. И каждая статья проекта Конституции, над которой работал Леонид Ильич Брежнев как Председатель Конституционной комиссии, проникнута заботой о настоящем и будущем нашей Родины, о молодом поколении.

Новая Конституция откроет новые горизонты для советской молодежи.



Сергей АЛЕКСЕЕВ,
бывший кремлевский курсант,
член КПСС с 1919 года.



НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА



Кремлевский курсант Сергей Алексеев Снимок 1921 года.

Каждый год в апреле, в день Ленинского субботника, меня зовут рабочие-металлурги или машиностроители, шоферы или железнодорожники: просят рассказать о Всероссийском субботнике 1 мая 1920 года.

Почему люди нынешнего поколения интересуются именно этим первомайским субботником? Да потому что первомайский субботник 1920 года стал выдающимся событием в истории нашей Родины. Решение о его проведении было принято на IX съезде РКП(б): международный пролетарский праздник отметить не демонстрацией в колоннах, а демонстрацией труда. Только в Москве в субботнике участвовало почти полмиллиона человек. А мне посчастливилось вместе с товарищами по Кремлевским курсам работать на том субботнике с Владимиром Ильичем Лениным.

Мы, старики, склонны несколько идеализировать годы нашей юности, говоря, что все было необыкновенно, интересно, ошеломляюще. Думаю, дело не в том, что сегодняшнее время менее насыщено самыми необыкновенными, самыми героическими событиями. По-моему, только безусые мальчишки могут сокрушенно восклицать: «Ах, почему я родился, когда революция позади, гражданская война давным-давно отшумела и даже Великая Отечественная тридцать два года назад завершилась?!» Каждый период нашей шестидесятилетней истории по-своему прекрасен, каждое время открыто дерзаниям и подвигу. Другое дело, что только спустя годы можно оценить свою жизнь. «Да, я участвовал в исторических событиях»,— скажет нынешний двадцатилетний строитель БАМа, КамАЗа, Нурека, Саяно-Шушенской ГЭС через двадцать лет. А сегодня

он просто работает, просто строит, короче говоря, просто живет. Выполняет план, учится заочно в институте, встречается с любимой девушкой. Ничего, казалось бы, особенного. А через двадцать лет судьба этого строителя станет частичкой истории. Так же, как, смею думать, моя судьба — это не просто биография Сергея Алексеева, подпаска, печатника, бойца Красной Армии, потом командира и прочая и прочая, а судьба моего поколения...

Я смотрю на пожелтевшую фотографию нашего взвода кремлевских курсантов, загибаю пальцы, подсчитывая оставшихся в живых. Илларион Магусевич в Киеве — раз. В Минске живут еще двое: Павел Алексеев и Николай Малышев. В Баку — Гасан Расулов, Александр Гордеев — в Уссурийске. Итого пять человек, я — шестой. Вот и все, кто остался от нашего выпуска июня 1921 года. Тогда 1-е Московские Советские пулеметные курсы как раз были переименованы в Школу имени ВЦИК. Нашему выпуску была оказана честь принять знамя школы... Кремль, Ивановская площадь. Торжественная церемония происходит напротив наших казарм, на месте которых впоследствии был построен Дворец съездов. Я стою ассистентом у нашего первого знамени...

Наше училище — ровесник Октября, в этом году отмечает 60-летие. Ежегодно 22 апреля мы, бывшие кремлевские курсанты, собираемся в Москве. Возлагаем венок к мавзолею В. И. Ленина, венок к памятнику нашим павшим курсантам (это на территории Кремля), а потом встречаемся со слушателями Московского Высшего общевойскового командного ордена Ленина Краснознаменного училища имени Верховного Совета РСФСР — вот теперь какое длинное название у наших пулеметных курсов. И, наконец, остаемся одни. Вначале расспрашиваем друг друга о семейных новостях, но затем как-то незаметно возвращаемся в свою юность, в 20-е годы; сидим — солидные, взрослые люди, в генеральских мундирах, в орденах — и, перебивая друг друга, говорим: «Помнишь, Паша?», «А ты, Сергей, помнишь?»

Вспоминая Всероссийский субботник, мы, принимавшие в нем участие, расходимся в некоторых деталях. Это и не удивительно: работа проходила на большой территории — на Кремлевском плацу, у Никольских ворот и в Чудовом монастыре. Зато все твердо сходимся в одном: Владимир Ильич выбирал себе работу потруднее, чтобы личным примером показать нам, молодым коммунистам, что большевик должен быть всегда на трудном участке, своим примером увлекать окружающих.

Я хорошо помню утро 1 мая 1920 года. Заместитель начальника пулеметных курсов Искрижицкий и комиссар Борисов производили расчет по рабочим



В. И. Ленин вместе с кремлевскими курсантами на Всероссийском субботнике 1 мая 1920 года.

группам. В это время на крыльце Совнаркома показался Владимир Ильич в окружении небольшой группы советских работников. Подойдя к строю курсантов, поздоровался, поздравил нас с Международным праздником солидарности трудящихся и обратился к комиссару Борисову со словами: «Куда прикажете стать?» «На правый фланг, Владимир Ильич»,— ответил комиссар.

Владимир Ильич стал в первой шеренге, Борисов в затылок ему — во второй. Вся группа с правого фланга, в том числе Ленин, была направлена работать на уборке давнишних строительных материалов на Кремлевском плацу. Эти материалы были завезены сюда еще при царском правительстве перед первой мировой войной. Но начавшаяся война помешала осуществить на территории Кремля какое-то строительство. Со временем бревна и кряжи подгнили, для строительных работ стали негодны, и их списали на дрова. Дровяной склад Кремля в то время располагался во дворе Большого Кремлевского дворца. Мое отделение шестого взвода третьей роты попало в группу вместе с Владимиром Ильичем как раз на уборку этих бывших лесоматериалов, ставших просто дровами, которые мы носили с плаца, заворачивая за Успенский собор и проходя к складу во двор Большого Кремлевского дворца.

Первые несколько бревен Ленин носил вместе с Борисовым. Наш комиссар был ответственным за всех курсантов, которые, как я уже говорил, работали не только на плацу, но и у Никольских ворот и в Чудовом монастыре. В силу этого Борисов должен был вскоре покинуть Владимира Ильича. Уходя, он назначил в напарники к Ленину курсанта моего отделения Артемия Пермякова. Это право Пермякова работать в паре с Владимиром Ильичем никто из нас оспаривать не пытался: во-первых, Пермяков был самым старшим из нас по возрасту, а во-вторых, у него был самый солидный среди курсантов нашего взвода партийный стаж.

И все-таки мы завидовали нашему товарищу, который работал с Лениным почти до конца субботника. Правда, если бревна носили по двое, то отдельные кряжи вдвоем было унести не под силу. Тут уж требовалось человека четыре, а то и все шесть. Таких кряжей было немного, но, когда к одному из них подходил Владимир Ильич, тут между курсантами завязывался тихий и незаметный для постороннего наблюдателя «бой»: каждому хотелось поработать с Ильичем. Когда Ленин замечал, что около намеченного к переноске кряжа скапливалось многовато желающих, он останавливал особо ретивых словами: «Хватит шестерых, а вы берите вот эти бревна...»

Вспоминая эти сцены много лет спустя, все мы, работавшие тогда на субботнике в Кремле, не можем без улыбки представить себе нашего мальчишеского поведения. Да, в сущности, все мы и были тогда мальчишками восемнадцати — двадцати лет. Хотя за плечами у каждого было не меньше года гражданской войны. Я, например, к тому времени успел побывать членом Краснопресненской дружины во время революционных событий в Москве, участвовал в окружении Кремля, где засели юнкера и куда после артиллерийского обстрела мы ворвались через Никольские ворота. После этого я попал на негласную работу в Чека. Жил я в то время в Бутырском районе, который довольно густо был насыщен ворьем и бандитскими элементами. За полгода мне удалось разоблачить несколько воровских шаек, но в восемнадцатом году ворье «разоблачило» меня, и товарищи из Чека предложили мне побыстрее скрыться. Взяв маму, я уехал из Москвы. Остановились мы в Белгороде, там мне удалось найти работу по своей прежней специальности: печатником в маленькой типографии. Среди коллег оказались большевики, которые, узнав мою биографию, стали готовить меня к вступлению в партию.

Деникин в это время крепко наседал, вокруг Белгорода в лесах свирепствовали бандиты. Чекисты стали создавать отряды по борьбе с бандитизмом. Трое из нашей типографии, в том числе и я, записались добровольцами. Месяца три мы колесили по степям и лесам, бились с бандами. Затем наш отряд расформировали, и молодежь направили в действующую Красную Армию.

Я начал службу бойцом. Попал в разведку. Стал командиром отделения, взвода, потом начальником разведки. А осенью девятнадцатого года, когда Деникин уже летел от нас — догонять не успевали,— поступил приказ: отобрать командиров-самоучек для направления в военные училища. Перед этим я был сильно ранен в спину, некоторое время даже считался погибшим. А как «воскрес», так и получил направление на 1-е Московские Советские пулеметные курсы. По дороге подхватил тиф, четыре месяца провалялся в госпитале, и вот, наконец, я кремлевский курсант.

К этому остается добавить, что еще на фронте — в феврале 1919 года я вступил в партию, а с мая 1920 года был еще и комсомольцем. Как это получилось? Дело в том, что на наши пулеметные курсы вначале принимали только фронтовиков-коммунистов. А позднее начали направлять и комсомольцев. Вот тогда военком собрал всех членов партии, которым не исполнилось еще двадцати трех лет, и сказал: «Кто же, товарищи, будет у нас руководить молодыми? Ну-ка, подавайте заявления в комсомол». Так я стал членом Союза молодежи.

И все же, несмотря на значительный жизненный опыт, девятнадцать лет есть девятнадцать лет. Мы работали на субботнике весело, задорно, не замечая усталости. Правда, вначале присутствие Ленина рядом с нами заставляло нас сдерживаться, мы чувствовали себя несколько скованно. Но Владимир Ильич как-то быстро и незаметно сумел разрядить эту нашу скованность своей простотой и непосредственностью, веселыми замечаниями и репликами.

В перерывах на перекур мы окружали Ленина плотным кольцом и засыпали вопросами. Нам казалось непростительным не использовать такую возможность — узнать о Советской власти, что называется, из первых рук, от ее организатора и создателя. А Ленин ухитрялся услышать от нас самих ответы, задавая наводящие контрвопросы. При этом он весело смеялся и говорил: «Сами знаете все, а спрашиваете!»

В тот день мне дважды удалось участвовать в переноске кряжей с Владимиром Ильичем Лениным. Этому способствовало то обстоятельство, что Пермяков, постоянный напарник Владимира Ильича, был курсантом моего отделения: как тут было не «воспользоваться» служебным положением?!

К тому времени я уже несколько раз нес караул на посту № 27 — у квартиры В. И. Ленина и у входа в квартиру со двора. Встречался с Владимиром Ильичем, отвечал на его приветливое «здравствуйте» и на его вопросы. Зная, что Владимир Ильич очень



Группа учащихся 1-х Советских Московских пулеметных курсов. В нижнем ряду крайний справа С. В. Алексеев.

памятлив на лица, я участвовал в переноске тяжестей с Лениным, что называется, на правах «старого знакомого».

Участие В. И. Ленина во Всероссийском субботнике запечатлено на картине художника М. Соколова. Но самое интересное, что основой для этой картины послужила любительская фотография, хранящаяся в Центральном партийном архиве. Как и кому удалось сделать эту фотографию, сказать трудно. Наш комиссар Борисов вспоминает по этому поводу: «Я предложил было товарищу Ленину сняться за работой, но он сердито заявил: «Что за комедия? Я пришел работать, а не сниматься».

И все-таки фотография того дня сохранилась, став сегодня ценнейшим историческим документом, дорогой для всех нас реликвией.

В этом году перед началом Ленинского субботника меня пригласили выступить в профессионально-техническом училище. Я рассказывал о встречах с В. И. Лениным, о Всероссийском субботнике. После окончания этой коротенькой встречи, летучего митинга, что ли, ребята направились в автобусы: ПТУ строительного профиля, и его учащимся предстояло в тот день поработать по своим будущим специальностям на стройках города — штукатурами, каменщиками, малярами, бетонщиками. Каждый стремился побыстрее попасть в автобус, и в дверях образовалась пробка.

Я остановился, чтоб пропустить ребят, и невольно подслушал такой разговор:

— И чего нас агитируют на субботник идти? — говорила одна девушка другой.— Как будто кто-то отказывается. У меня всегда в этот день настроение праздничное, работается как-то легко...

Девушки прошли к автобусу, я проводил их взглядом и подумал: «А ведь это замечательно, что нынешняя молодежь относится к субботнику, к безвозмездному, коммунистическому труду на благо общества как к явлению естественному. Так оно и должно быть: ведь Советской власти уже 60 лет!»

Когда 12 апреля 1919 года небольшая группа — всего тринадцать коммунистов и два сочувствующих депо Москва-Сортировочная с восьми часов вечера до шести утра ремонтировали паровозы,— это был первый в истории коммунистический субботник, а почин москвичей Ленин назвал Великим. «Это — начало переворота...— писал Владимир Ильич,— более решающего, чем свержение буржуазии...» С тех пор коммунистическое отношение к труду стало повсеместным в нашей стране, трудиться так стремятся все советские люди — наследники Великого почина.



Игорь **РУБИНСКИЙ**

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ



Мы привыкли к довольно устойчивому словосочетанию: крупнейшая в мире ГЭС, крупнейший в мире комбинат, крупнейшая в мире домна, крупнейший агрегат... Подобную информацию о стройках в Советском Союзе, о действующих у нас заводах, электростанциях мы воспринимаем как должное, естественное для страны Великого Октября.

А если оглянуться назад, когда такое сочетание слов прозвучало в устах советских людей впервые?

1919 год. Молодая Страна Советов в огненном кольце контрреволюционных фронтов. На VIII съезде РКП(б) Владимир Ильич Ленин делает доклад о работе в деревне, об отношении Советской власти к среднему крестьянству. Затаив дыхание слушают делегаты съезда ленинские слова: «Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это — фантазия), то средний крестьянин сказал бы: „Я за коммунию" (т. е. за коммунизм)».

...Десятую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции отметила новая, свободная Россия, разгромившая объединенные силы внутренней и международной буржуазии. Победивший народ сразу же принялся за осуществление ленинской мечты. Еще экономически отсталая, едва оправившись от разорения после империалистической, а затем гражданской войн, еще не ликвидировав неграмотность, вышла страна с лопатами и тачками на строительство первого у нас к р у п н е й ш е г о в м и р е индустриального гиганта — Сталинградского тракторного завода.

Для западного мира это было время духовного скептицизма «потерянного поколения» и быстрого расцвета техники. Вовсю дымили бывшие военные предприятия. Окрепнув от щедрых ассигнований, они поставили на широкую ногу выпуск самых разнообразных машин. Вступили в пору зрелости великие транспортные изобретения, родившиеся на рубеже столетий,— автомобиль, самолет. Скорость передвижения на них поражала — газеты кричали о рекордах, публиковали снимки бравых парней, покорявших стихию. Громадные пассажирские лайнеры бороздили океаны. С военных верфей спешно и тайно спускались в воду подводные лодки. Промышленный бум набирал силу, чтобы разразиться через несколько лет величайшим в истории экономическим кризисом.

А с чем подошли к этому времени мы, советский народ?

«В 1910 году,— пишет известный английский историк техники С. Лилли,— в России имелось 10 миллионов деревянных сох, 18 миллионов деревянных борон и всего лишь 4,5 миллиона железных плугов, не говоря уже о почти полном отсутствии более современного сельскохозяйственного инвентаря, который стал входить в употребление в других странах приблизительно с 1800 года. Война 1914—1918 годов и опустошительная интервенция сильно ухудшили положение. Довести производство даже до довоенного уровня удалось лишь к 1928 году».

И все же руководимая Коммунистической партией Советская страна решилась на соревнование, бросила вызов западному миру. Крупнейшие заводы американского «короля» сельскохозяйственных машин Мак-Кормика выпускали тогда 30 тысяч тракторов в год. В январе 1929 года Советское правительство утвердило окончательную плановую цифру сталинградскому гиганту: в год 40 тысяч машин типа «Интернационал». 20 апреля 1932 года проектная мощность была достигнута — 144 трактора в день.

Мы не закрывали глаза на техническую отсталость нашей страны и признавали достоинства наших соперников. Оборудование для Тракторного закупалось в Соединенных Штатах. Оттуда приезжали к нам специалисты. «Мы покупаем для завода заграничное оборудование,— говорил Михаил Иванович Калинин на митинге в Сталинграде 9 июня 1930 года,— сокращая закупки за границей предметов потребления... Мы урезаем себя во всем, чтобы только купить оборудование. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы лучше жилось не отдельной небольшой прослойке, а огромному большинству населения нашей великой страны».

И вот в строю крупнейший тракторный завод, призванный стать и ставший важным фактором в деле решительного подъема нашего сельского хозяйства, его коллективизации. Крупнейший... Десятки цехов, сотни уникальных станков, тысячи и десятки тысяч рабочих. Невиданная для тех лет махина, по которой выверялся пульс технического прогресса. «Правда» в то время писала, что роль Сталинградского тракторного в освоении новой техники, в накоплении

Яков Козловский



Памяти Михаила Луконина

Свидетельствуют верные приметы,
Что составляют с памятных времен
В России божьей милости поэты
Интернациональный батальон.
И ты, мой друг, познав печали меру,
Не моден, а лишь тольно знаменит,
Был смел, нак подобает офицеру,
Был честен, как поэту надлежит.
Испытанный огнем девятибалльным,
Ты мог бы, свой благословив удел,
За Грецию погибнуть, словно Байрон,
Идти, кан Лорна, гордо на расстрел.
Еще вздыхают женщины, ноторых
И нежил ты и мучил под луной,
А вечность вновь на полку сыплет порох,
Внеся тебя в свой списон именной.
И нам, нан прежде, в схватку подниматься
Повелевает времени приказ.
Должны погибнуть мы или прорваться,
И нет другого выхода у нас.

Старая песня...

Снальной тропой, молодой и печальный,
Милая Варенька, помня о вас,
Скачет под пули поручик опальный...
Старая песня: любовь и Кавназ.
Конным разъездом погибельно смятый,
Ожил и вновь совершает намаз
Диний татарнин в чалме лиловатой...
Старая песня: любовь и Кавназ.
Дружно содвинув заздравные чары,
Пили мужчины, но в тысячу раз
Больше пьянили их женские чары...
Старая песня: любовь и Кавказ.
Даже снвозь морон мне, будь он неладен,
Видятся снова в полуночный час
Очи — подобие двух виноградин...
Старая песня: любовь и Кавназ.
Может, не присказка, может, не сназна,
Что под рубахой сокрыта от глаз
Рана сквозная, тугая повязна...
Старая песня: любовь и Кавназ.
Кланяюсь хлебу простого помола,
Небу, что дымчато, словно топаз,
Доли Махмуда, недоли Паоло...
Старая песня: любовь и Кавказ.
Воспоминаний зеленые лозы
Нас оплетают, им век — не указ.
Слезы над вымыслом — вестницы прозы...
Старая песня: любовь и Кавназ.

В горном ущелье

Я в горном ущелье над Бзыбью,
Прижатою н снлонам лесным,
Понрытою пенистой зыбью
И сизым дождем навесным.
На гулном небесном пороге,
Где нынче нлубится туман,
Приютом дарит у дороги
Заезжего гостя духан.
О, диная прелесть духана,
Где снатерти чужды досель,
И пьют из простого стакана,
И жарят живую форель.
И слов здесь не слышится пресных,
И в древних названьях вина,
Кан эхо, селений окрестных
Заздравно звучат имена.
Сошлись за беседой мужчины,
И нажется в дымне дождя,
Их ждут у дверей не машины,
А нони, ушами прядя.

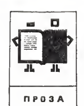
На полустанке

Угля грудастые останни,
Железной линии изгиб.
В бою на этом полустанне
Ты, помнится, чуть не погиб.
А ныне здесь, проездом в отпусн,
Ты видишь в дымне сентября,
Кан с девушкою чей-то отпрысн
Целуется у фонаря.
Другой — снлонился над мопедом
В пылу довольства своего.
И никому ты здесь неведом,
И сам не знаешь никого.
Но есть перрон с отнрытым небом,
Где явь, нан добрый сон, сладна
И свежевыпеченным хлебом
Торгует женщина с лотка.
Пусть девушну обнявший парень
И впредь не вспомнит о тебе,
Ты в тайне сердца благодарен
За милость собственной судьбе.

В небо лестница всходит витая...

«Поэтов грешный лик
Умножил я собою...»
ПУШКИН

Вы в ночи с элентрични слезали,
Видя звезд многочисленный лик.
И однажды тайном не слеза ли
Озарила ваш мерннущий лик!
Отлюбив, на поной променяли
Вы безумства и грешную шаль.
Про другого сейчас, про меня ли
Вспоминаете, нутаясь в шаль!
В небо лестница всходит витая,
Синь подобна цветущему льну,
Где душой, в обланах я витая,
Вновь к земле обольстительной льну.
Ветер листья колышет ли, хвою,
Там, где нам не бродить по нустам!
Мы за то заплатили с лихвою,
Что уста прижимались н устам.





Надежда
КОЖЕВНИКОВА

О ЛЮБВИ

МАТЕРИНСКОЙ, ДОЧЕРНЕЙ, ВОЗВЫШЕННОЙ И ЗЕМНОЙ

ПОВЕСТЬ

I. Начало

Неужели и я когда-нибудь смогу сделаться для моей девочки тем, чем стала для меня моя мама? Я, суетная, корыстная, несдержанная, неужели способна буду стать в глазах дочери своей лучшей, незаменимой, надежной, как никакая другая опора в мире,— той, в чьей любви нет сомнения и нет возможности хоть частично расплатиться за такую любовь? Неужели и она, моя девочка, будет из всех советчиков выбирать меня и от взгляда моего, улыбки так же будет сжиматься у нее сердце в ответной, пусть и не высказанной вслух любви?

Неужели при одной мысли о возможном своем сиротстве она заплачет, как плакала, плачу, буду плакать я, и никогда никто из любимых, любящих, родных ей меня не заменит?

Нет, вряд ли. Сознаю, что такие матери, как моя, бывают редко и что сам факт материнства еще не дает права ждать от детей своих столь же сильных чувств. Можно только надеяться, как надеются все люди на счастье, хотя счастливы бывают далеко не все. Как не всем дано испытать подлинную любовь, хотя и все мы влюбляемся, увлекаемся, женимся, обзаводимся семьями...

Но даже те, кто в своей любви обманулся, поплатился за ошибки тяжелой ценой, даже они готовы поверить, что настоящая любовь все-таки есть. Как есть и счастливые матери и благодарные дети. И именно это норма, естественная человеческая нормальность, а в том, что встречается она все же нечасто, виноваты лишь сами мы. Ведь природа наделила нас всем, что нужно для счастья, и предоставила богатый выбор: бери, люби, цени. Дорожи. И в благополучии и в безоблачные дни помни, *чем* владеешь и как больно будет это потерять. Приучай себя к мысли о хрупкости, ломкости всего дорогого — ведь терзаниями, раскаяниями *после* уже ничему не поможешь и не облегчишь душу.

Помог бы кто, и в самом деле, следовать этим мудрым советам. Скромные, вполне вроде доступные — а как сложно, оказывается, их выполнять. Как удержать

Рисунки
Г. ПОНДОПУЛО.

себя от заведомой несправедливости, от беспощадности к тем, кого — понимаешь — дороже для тебя нет.

Может, материнство научит терпеливости, самоотверженности, спокойствию и достоинству, без которых так жалок человек?

Может, хоть чуть-чуть сумею я приблизиться к моей маме, смогу наконец понять то главное, что ускользнуло за прожитые уже мною двадцать с лишним лет?..

2. Вальс «На сопках Маньчжурии»

Мне все не верится, что она в самом деле есть, родилась, существует реально. Я так долго ее ждала — целых девять длиннющих месяцев. Ждала, пытаясь представить, как это все будет, смотрела на других детей, примеривалась.

Жила на даче, куда послали меня родные дышать кислородом и набираться сил, отупевшая, злая от нетерпения. И такое дождливое выдалось лето! А кто-то по соседству с маниакальным упорством заводил с утра одну и ту же пластинку — вальс «На сопках Маньчжурии».

Над сырыми садами, над крышами одноэтажных дощатых дач монотонно неслись эти звуки надоевшего, еще и еще раз возобновляемого вальса «На сопках Маньчжурии».

Кто он был, тот фанатик — приверженец старого вальса? Что он делал, пока вертелась под иглой пластинка? Выстругивал, выпиливал что-либо из дощечек или занимался другим ремеслом, однообразным и успокоительным для нервов? Или тупо глядел в окно, занавешенное сырым туманом, как я глядела?

Или улыбался коварно, представляя отчаяние соседей, почти свихнувшихся от вальсового мотива?

Или, может быть, его вообще не было, того фанатика-меломана?

Возможно, существовал где-то пустой, заброшенный дом, откуда давно ушли люди, и в комнате — темной, пыльной — некто, неживой, нереальный, свершал нечто таинственное под аккомпанемент самозаводящегося музыкального ящика...

А может, той музыки никто, кроме меня, и не слышал, может, она была лишь плод моего воображения, моей больной психики, забуксовавшей на одном желании: скорей бы, скорей... Никогда не было в моей жизни такого долгого лета, а также такой долгой весны и долгой зимы, как в год ожидания ребенка. Я чувствовала себя больной не от того даже, что в организме моем что-то происходило, а от того, что столько приходится ждать.

И росло нетерпение, как в детстве, когда ждешь праздника, подарка,—только со взрослыми уже сомнениями, взрослым сознанием ответственности, перелома, перемен.

И пусть это случалось до меня с миллионами женщин, пусть тысячи переживали подобное одновременно со мной — я оказалась лицом к лицу с неведомым, новым и была незнакома самой себе.

Менялись мои вкусы, походка, ритм и образ жизни, и все это происходило точно не со мной. А я, прежняя, откуда-то вдруг выныривала, осматривалась, ничего не узнавала и снова скрывалась, понимая, что в прежнем своем качестве я вовсе сейчас не нужна.

Шла женщина, опасливо глядя под ноги, оберегая на всякий случай свой живот, со взглядом сосредоточенно-отрешенным, то ли в мечту какую-то уйдя, то ли в дрему,— и то была, конечно, не я!

Только откуда тогда в моей памяти всплывают вдруг звуки старого вальса?

Как же он надоел, этот вальс!

Но почему-то теперь мне хочется его услышать: ведь он звучал в то время, когда я ждала...

3. Жить вечно...

И вот я тоже имею право сказать: «Я родила тебя в муках»..: Хотя, по правде, муки эти оказались не столь уж тяжелы, не столь непереносимы, как думалось. Готовилась я к куда более страшному, оттого еще, верно, что воспитана была на примерах классической нашей литературы — «Войны и мира», «Анны Карениной» или, скажем, рассказа Чехова «Именины».

Но родов, вполне понятно, ни Толстой, ни Чехов сами не испытали, и потому, теперь я убедилась, свидетельствам их доверять было нельзя. Ужасные стоны их героинь, атмосфера чудовищного напряжения, якобы обязательного при родах, оказались сильным преувеличением.

У меня, во всяком случае, было иначе. Буднично. Нормально. Работа, которую надо исполнить. Ожидание девятимесячное завершить. А орать, выть тем самым «классическим» воем было попросту стыдно. И некогда. Нужны были силы — нельзя их тратить на крик. Сознание ни на мгновение не отключалось— напротив, никогда, пожалуй, не была я так покладиста и благоразумна, как тогда, слушая указания акушеров. Дочь моя должна быть мною довольна: я трудилась, ее рожая, сосредоточенно и усердно.

...А любви что предшествует? Жалость? Ощущение, что каждое твое слово, действие, мысль мгновенно отзовется на другом, целиком находящемся в твоей власти? Ответственность, и боль, и чувство вины за то, что как дочь, как жена, как мать ты могла бы быть лучше, а вот не стала. Что им, твоим близким, досталось любить тебя. Любовь приходит, думается, одновременно с раскаянием, то есть с желанием очищения, попытки подняться над прежней собой. С припоминаниями прошлых своих грехов и желанием за них расплатиться. Любой ценой — любой, какую назначат. Ведь искупление может прийти только, если простят.

Но они, родные, прощают и так. На веру. Потом они знают, что скорей всего ты не сдержишь своих клятв. И — что говорить! — они правы.

Ну, а дочка моя пока вообще ничего не знает. Не помнит. Не видит ни себя, ни меня. И то, что тельцем своим, слабостью, ногами, длинненькими, как у Буратино, она вызывает жалость, совсем ей неведомо. Она хочет есть. И спать. Жить!

Тут и приходит беспокойство за жизнь другого. За здоровье его, счастье. Вместе с тревогой, мукой, болью возникает и любовь.

Настаиваю, что любовь не может быть сытой и благодушной. Она всегда терзание. Всегда в ней пульсирует страх потерять. Чем больше любишь, тем сильнее страшишься разлуки. Покой не для любящих. Бывает, конечно, и равновесие, но не покой. А равновесие — это усилие воли, усилие мысли. Это — взросление, когда понимаешь, что многое зависит от тебя самой. Ни от судьбы, ни от примет и гаданий, а от каждодневных твоих действий, решений. Когда ты сама можешь выбрать: так или вот так.

Ты — мама. А значит, тебе предстоит сделать рывок и в сознании своем и в образе жизни. Ребенок

твой будет, к счастью, постепенно расти, а потому у тебя окажется время вместе с ним меняться.

И стариться и умнеть. И, может, даже приблизиться к тому, чего достигла твоя мама, воспитавшая, нарастившая в детях своих такой силы любовь к ней, что, если бы было кому услышать, этот кто-то сказал бы: «Т а к а я мама должна жить вечно».

4. В семье

«И все-таки, мне кажется, совсем я не умру. Мне думается, что я навсегда останусь с вами, будут глядеть на вас, говорить с вами, но вы не услышите».

Она улыбалась. Лицо ее за время болезни похудело, обострилось, и, странно, она походила теперь на себя в юности больше, чем когда бы то ни было. Но муж, дети тот прежний юный ее облик давно забыли — знали, помнили мать другой. И теперешнее ее лицо, беспокойно-сосредоточенное выражение глаз, слабая, недоверчивая улыбка, точно она удивлялась чему-то, пугали их, хотя они старались и виду не показать, как странно, непривычно, больно видеть им мать такой.

А она улыбалась. Многие житейские заботы, на которые затрачивалось столько сил, вдруг потеряли для нее прежний смысл, будто поднялась она на какой-то высокий холм и взглянула оттуда вокруг — и печально, насмешливо, сама себе улыбнулась.

Не только вес ее тела стал легче — освободилась от многолетнего груза душа, но заполнить образовавшиеся пустоты чем-то другим, новым, сил и времени, она считала, не было. Наверно, поэтому так часто погружалась она теперь в дрему. Опускались потемневшие веки, горестные складки появлялись у рта: спала, уходила из сегодняшнего реального времени, но никуда в мечтах своих не стремилась, не грезила ни о чем.

Домашние старались ее не тревожить, ходили на цыпочках, шепотом переговаривались, а она слышала сквозь сон их неловкие усилия, и что-то недоброе, даже мстительное вот-вот готово было родиться в ее сознании, но сил не находилось развить, додумать это до конца.

А потом внезапно опять ей хотелось действовать, участвовать в общей жизни — болезнь отступала,— она спешила больше сказать, больше сделать, пока не ушел запал. И родные, скрывая тогда уже свою радость, держали себя с ней, будто она не была больна, а после, по небрежной забывчивости здоровых людей, и вовсе переставали помнить, что она н е з д о р о в а.

Требовали, выясняли, спорили — и она терялась перед их жестокостью — жестокостью любящих, родных, смотрела на них, как на обманщиков, заманивших ее вновь в опасную, ненужную ей теперь суету, где жить, дышать, выдерживать под силу только здоровым, а она больна, слаба — и, посмотрите, вот она, сдаваясь, подняла руки...

Им, справедливости ради, надо признать, тоже было непросто. Она глядела на них, точно вершила суд, точно выносила сама для себя окончательное о них мнение. О каждом. Они чувствовали на себе этот ее жесткий, изучающий взгляд — никогда раньше она так не глядела.

Она стала молчалива, и им хотелось ее разговорить. Думали, что делают это для ее отвлечения. Но на самом деле им хотелось оправдаться — да, перед ней, конечно. Но также и перед собой.

Они стали чувствовать себя с ней скованно. Предупредительность, с п е ц и а л ь н а я доброта, принятая в отношении к больным, претила им, и — так казалось — была оскорбительна и самой матери. Они никак не могли найти с ней верный тон — очень боялись сфальшивить, а потому, может, и сами с собой разучились быть правдивыми. Наигранная веселость слетала с них под укоризненно-печальным взглядом матери. А временами, забывшись, отвлекшись от ее болезни, они вдруг замирали, пристыженные: но такое притворство было еще хуже, потому что имело цель подделать искренность горя, скорбь.

Но, опять же ради справедливости, следует заметить: многое в их поведении объяснялось тем, что они-то были здоровы, а потому переменчивы, легкомысленны, легковерны, по-детски привязаны к счастливым развязкам: им очень — да, правда! — всем сердцем хотелось верить, что все обойдется, все будет хорошо. Они твердили об этом себе, друг другу и даже, случалось, самой матери. И прежде чем снова скользнуть в бездну отчаяния, кричали, не размыкая губ, кому-то «нет!». И это их «нет» было так яростно, так гневно и так беспомощно, что, если бы кто-то и вправду мог услышать, возможно...

А может, т а к и б у д е т? Ведь бывает, что в самом деле все завершается хорошо?..

...Мать же и в болезни не могла найти покоя, защиты — и тут она терзалась волнением, заботами о них о всех. А эти в с е и от нее, больной, ждали помощи, советов, утешений, какой бы она ни была слабой. Формально они считались уже большими, взрослыми, самостоятельными — но при чем тут возраст, если они ощущали себя ее детьми!

И мать не чувствовала себя за них спокойной: пусть у них у самих уже были дети, но в полном смысле отцами, матерями они еще не успели стать.

А может, окончательное их взросление, зрелость задерживала излишняя их к ней привязанность? Может, не считаясь так с ее мнениями, оценками, вкусами, они скорее бы обрели в жизни равновесие, прочность?.. Кто любит, всегда уязвимей тех, кому некем дорожить и некого терять, но от такой своей уязвимости вряд ли кто откажется добровольно...

5. Ребенку надо

Р е б е н к у н а д о. Твоему ребенку надо то-то и то-то. И тут уж никуда не денешься, не отвертишься, не махнешь, как прежде, рукой: что, в очереди стоять?! — да пропади оно все пропадом... Нет, не выйдет.

Твоему ребенку надо, и выстоишь в очереди безропотно, какой бы длинной она ни была, и пусть мнут тебе бока у прилавка, пусть рука занемеет от тяжеленных сумок — ребенку надо, и ты все стерпишь.

О, лица моих современниц! Затвердевшие ваши подбородки, брови, сведенные к переносью, одержимо пылающие глаза—теперь я знаю, какая страсть заставляет вас преодолевать любые преграды, поднимать немыслимые тяжести, колесить по городу из конца в конец. Эта страсть — материнство.

Я с вами, мои современницы! Подождите, теперь мы будем действовать вместе!

Я уже не боюсь «погрязнуть в быте» — знаю, ради чего, ради к о г о все делаю. И даже боли почти не чувствую, когда ошпариваю себе руку кипятком, торопясь поскорее накормить свое сокровище. И глажу, стираю, высунув от старания язык,— ох, мне нельзя теперь халтурить.

Я, кажется, взрослею, я, кажется, мудрею. Встречаю случайно свое отражение в зеркале, когда мчусь

из ванной на кухню, и себя не узнаю. Только что разбилась моя любимая чашка, сломалась стиральная машина, задымилась пеленка под утюгом, а я вместо того, чтобы — это было бы естественно — завопить: к черту! к черту! — безмятежно улыбаюсь, шепчу, склоняясь к кроватке: «Ты моя кошечка, котеночек, мяу, мяу».

Нет, я уже теперь — не я!

«Ты моя козочка, козленочек, бэ-э»...

Ребенку, говорят, необходимо видеть доброту и покой в лице матери.

Звонит телефон, закипает чайник, мой мышоночек-козленочек-котеночек вопит что есть мочи — и я бегу, срочно восстанавливая гармонию в душе, изображая на лице покой и радость.

Дочь моя не должна догадываться, во что мне обходятся радости материнства. Но ведь не мне одной!

О мои современницы, как я вас понимаю!

Ребенку надо — и еще одна брешь пробивается в семейном бюджете. Но это такая радость — покупать, скажем, игрушки для нашей дочки, хотя играем в них мы, ее родители. Покупаем, покупаем, пока не опасаясь избаловать наше чадо, не сдерживаемые никакими воспитательными соображениями,— а, наверно, это будет очень трудно — в чем-либо своему ребенку отказать.

Теперь, став матерью, я понимаю, как вам, мои дорогие папа и мама, трудно было мне, вашей дочери, отказывать, на просьбы мои отвечать железным «нет». Такие стойкие, такие мудрые, вы и сейчас продолжаете меня воспитывать, а я, стыдно признаться, и сейчас еще продолжаю что-то у вас просить.

Говорите, говорите мне «нет»! Это всем детям в конце концов идет на пользу.

6. Вариант

Вариант такой должен был всех устроить. Пожилые («Неужели правда, молодость уже прошла?!») оставались там же, где жили. Молодые («Юлька, девочка — чья-то жена?!») перебирались на Войковскую, в двухкомнатную квартиру, добытую сложным обменом: комнаты ленинградской тети и комнаты дедушки на Старом Арбате. Дедушка перебирался к молодым — и таким образом, все могли быть довольны.

Молодые получали возможность зажить своим уставом в своем доме. А дедушка? Да он должен быть просто счастлив! Так тосковал, овдовев, один на Арбате, так радовался, когда дети и внуки его навещали: правда, случалось это нечасто.

Вот и придумали вариант.

Принят он был единогласно, с энтузиазмом.

«Ну, наконец-то! — шептались пожилые в спальне.— Юлька, знаешь, стала просто невозможной. Понятно, самой хочется домом править, пора пришла. И у меня так было... Но разъезжаться приспело — сейчас в самый раз».

А молодые, а Юлька, оказавшись с супругом наедине, взвизгнула от радости: «Ну, представляешь! Ну, слов нет — вот привалило! А я уж думала, как подкатиться, чтобы комнату нам снять... Надо их убедить,— заговорщически шептала Юлька,— зеркало из прихожей нам отдать. Ну, господи, где ты такое возьмешь? Старинное, да еще в резной раме! Дурень. Да это сейчас самый шик! Пусть в пятнах, пусть в трещинках — не в этом дело. Ну уж если ты так настаиваешь, если тебе непременно надо физио-



номию свою изучать,— найдем где еще одно, новое, пристроить...»

Зеркало после некоторого, правда, сопротивления пожилые отдали. И еще отдали кое-что, чтобы гнездышко молодых стало уютным, приятным.

И стало. Теперь был за дедушкой черед. Пожилые сказали: «Молодые тебе с переездом, конечно, помогут».

Но дедушка — вот она, подлинная скромность, деликатность, воспитанная в прежние времена! — от помощи какой бы то ни было отказался.

«Нет, нет, очень прошу, не беспокойтесь,— и усмехнулся в усы.— Да-да, так будет мне удобней.— Он даже голос возвысил:— Я прошу! Я настаиваю. Ведь вещей у меня немного...»

Так дедушка облек туманом тайны свой переезд. Какие богатыри вызвались быть ему помощниками? Какая сила в самом деле понадобилась, чтобы выгрузить, доставить такое количество тяжеленных коробок, ящиков, предметов непонятного назначения — всего того «хлама», при взгляде на который у Юльки закружилась голова.

«Это,— произнесла она слабым голосом,— так здесь и останется?»

Пожилые, застыв, молчали.

«Да,— сказал дедушка,— да! — Встал с кресла, отозвавшегося на его движение злорадным пружинным взвизгом, огляделся и патетически, а также вроде с угрозой воскликнул: — Тут вся моя жизнь!»

Пожилые, кивнув, попятились. За ними отступили молодые. В коридорчике, очень тесном, Юлька бросилась к матери на грудь. «Мама,— всхлипывала она.— Мама...»

«Ничего,— решился наконец произнести свое слово отец.— Как-нибудь уживетесь...»

...Но не так-то легко привыкнуть к отсутствию в доме детей, чей смех и слезы впитали, казалось, даже стены. Детей, забравших молодость, беспечность в обмен на всегдашнее за них беспокойство,— детей, бывавших и грубыми и глупыми — и все же таких любимых детей!

А вот теперь их нет: живут в своем доме своим уставом. И мать, не решаясь потревожить их визитом, снова бралась за телефон.

— Юлька, ты? Ну как вы там? Да?.. А дедушка... Да?!.

Дедушки снова нет. Он теперь вечерами часто уходил куда-то, а, возвращаясь, напевал какой-то мотивчик, очень популярный в его время, но нынче не известный почти никому.

Юлька за стеной слушала, насторожившись. Она теперь постоянно была настороже: что еще там предпримет, что выкинет их милый дедушка?! Очень уж стал активным. И в жэке он — первый человек. И еще в каком-то организованном пенсионерами комитете. Его навещали прежние соседи по Арбату. Они собирались, пили чай и подолгу, прощаясь, смеялись чему-то в передней.

А Юлька и муж ее Игорек сидели не дыша в своей комнате за стенкой... и вслушивались, и все, бедные, чего-то ждали. Неожиданного. Агрессии.

Ну, а дедушка вел себя с ними так, будто ничего странного в совместной их жизни не происходило. По-прежнему был ласков с внучкой, терпелив, обходителен — вот она, подлинная интеллигентность...

А у внучки уже сил не было сдерживаться, она все плакала, плакала—ведь надо же как их подвели!...

Не хотелось признаваться, но главное разочарование крылось в том, что она, Юлька, рассчитывала на полное подчинение себе не только мужа Игоря, влюбленного в нее, но и дедушки, которого она плохо знала, да и не могла лучше узнать за короткие к нему визиты, но который был стар — и уже одно это вселило в нее уверенность, что он всем ее желаниям сразу и беспрекословно подчинится.

Она бы, конечно, о дедушке заботилась, конечно, оказывала бы ему внимание — но такое, в каком, по ее представлению, нуждались старики.

А вышло иначе. Дедушка в ней вообще, получалось, не нуждался: сам за собой прибирал, ел и уходил куда-то, о чем никому не докладывал. То есть он заявил о своем праве на так называемую личную жизнь и отстаивал ее неприкосновенность доступными ему средствами, вежливо, корректно, но непреклонно.

Вроде бы он никому не мешал, но молодые восприняли его поведение как агрессию, потому что совсем иначе воображали себе вообще старость, вообще стариков. Какими? Да вот именно, что представления их об этой возрастной категории складывались из общих, стертых, расхожих черт — зыбкий, расплывчатый образ, не уточненный никаким живым характером, человеческой судьбой, опытом пережитого, прочувствованного.

А тут вдруг... Привычки дедушки, вкусы дедушки, его знакомства, его дела — подумать только, на восьмидесятом-то году жизни!

— Кем он раньше-то был? — заинтересовался вдруг юный муж внучки.

Оказалось, инженером-путейцем. Оказалось, что в молодости был очень красив — нашли старый альбом с бледными, на толстом паспарту́ фото.

— Знаешь, а у него твои глаза,— установил муж, переведя взгляд от фотографии к лицу Юльки.

— Да, мама говорила.

— И нос. Вы просто поразительно похожи!

Молодые склонились к альбому. Тонколицый человек с очень выпуклым лбом и насмешливой, слегка надменной улыбкой глядел с фотографии на них — глядел, прищурившись, из глубины времен, из прошлого столетия!

— Сколько ему здесь?

— Девятнадцать...

— Так он моложе нас?!.

Ну, конечно, они догадывались, что и дедушка был когда-то молод, как были когда-то молоды их собственные родители, но... Эта молодость тоже воспринималась ими абстрактно, не вызывала ни интереса, ни любопытства, ни сочувствия. Они привыкли принимать во внимание лишь то, что сейчас реально существовало, сейчас действовало и могло так или иначе на них повлиять. Они и не подозревали о своей ограниченности, и только когда воображение получило толчок, когда обстоятельства вынудили их задуматься о прошлом, о минувшем — судьбе, человеке, времени,— что-то вдруг дрогнуло в них.

— Интересно было бы с ним поговорить,— задумчиво произнес юный муж.

— Да,— эхом отозвалась его жена,— интересно...

...В общем, на посторонний взгляд ничего особенного в совместной их жизни теперь не изменилось. Дедушка, как многие старые люди, просыпался рано, часов в шесть. Молодые, как многие молодые, любили поспать и вставали позже, часу в девятом. Потом расходились по своим делам. И только к семи собирались все вместе, ужинали, пили чай... Вот в это вечернее время и обнаруживались перемены, которые все же произошли в жизни всех троих. Судить о них можно было по взглядам, по интонациям, по радостному смеху и сосредоточенному вниманию в молодых глазах: «Дедушка, расскажи...»

И старый человек, дедушка, рассказывал, и слушал, и отвечал на вопросы, и сам их задавал. А когда уже становилось совсем поздно, они говорили

друг другу «спокойной ночи» и расходились по комнатам: молодые — в свою, слева от двери, старый человек — в свою, по коридору вглубь.

И вот тогда, оставшись с собой наедине, он садился в старое кресло, отзывавшееся недовольным пружинным брюзжанием, сидел, глядел в окно...

«Неужели,— думал он,— люди могут признать права другой личности лишь в том случае, если личность эта способна оказать им сопротивление?..»

И ему было грустно.

7. Сквер

Совершенно обычный сквер — обычный для тех, кому пора еще не настала быть матерью, отцом или, увы, состариться; кто замотан городской спешкой и больше заинтересован витринами магазинов, очередями — что дают? — чем небольшими зелеными островками среди домов и машин, где сидят на скамейках старики и возятся в песочницах дети; кто мельком взглянет на это уже дремлющее или еще беспечное, безоблачное существование и, не успев ни позавидовать, ни задуматься, промчится дальше — к автобусам, троллейбусам, такси — к тем радостям и обязанностям, что диктует определенный возраст, определенный образ жизни: ни плохой, ни хороший, просто другой.

Да, кому пора не настала, тому и не дано понять, ощутить особость этого тенистого мирка, где бродят мамы-папы с колясками, высокими по моде и пестрыми, где беседуют, знакомятся, общаются и радуются жизни на свой лад пенсионеры.

А мир этот глубок и притягателен — опять же для тех, кому пришла пора. Тогда, вступив только под тенистую зелень, невольно замедлишь шаги, вдохнешь полной грудью, почувствуешь блаженное расслабление мышц и ту ясность в сознании, когда вдруг, кажется тебе, готов понять ускользающие в суете извечные ценности жизни. Ценности, приняв которые на самом деле, а не на один только миг, люди сделались бы определенно покойнее, добрее. Но, к сожалению, лишь временами, вот, скажем, в таком обычном, городском, ничем особо не примечательном сквере внезапно сознаешь, какая это радость вообще жить, какая это могла бы быть полная, яркая, длящаяся бесконечно радость, если бы мы жить умели.

Радость детства, радость того, что ты к этому детству причастен, что дал жизнь кому-то и стал от того намного душевно богаче.

Родители и дети. Мамы с колясками, папы, ведущие за ручки малышей. Никто никуда не мчится — идут с достоинством, горделиво, особенно те, кому еще непривычен сам процесс ходьбы, кто, кажется, задумывается при каждом шаге, какой ногой ступить — левой или правой: задумался, решился, прижал крохотной своей стопой земной шар, удержался на его поверхности и еще раз ступил, двинулся дальше.

Да, здесь именно они хозяева, дети. Здесь мордочки их кажутся осмысленней, чем в городской толпе, когда, ошарашенных, их влекут за собой куда-то мамы. Здесь три-четыре года, прошедшие от рождения,— уже возраст, уже опыт, уже позволяют снисходительно взглянуть на тех, кому еще нет трех.

Им хорошо здесь, в сквере, детям. А где хорошо нашим детям, там и мы чувствуем себя хорошо.

8. Икэбана

Кто и когда произнес впервые это слово—«икэбана»? И сразу ли прозвучало оно с издевкой, или лишь потом?..

...Росли мальчики, сыновья, в крепком доме с достатком, учились, занимались спортом, уважали, как и положено, родителей.

Уважали... Отец, высокий, смуглолицый, с обжигающим взглядом узких глаз, был власть, и все ему подчинялись. Мальчикам и в голову ни разу не приходило его ослушаться: им даже льстила, пожалуй, непреклонность отца, его строгость, адекватная, им казалось, истинной мужественности. Они своим отцом гордились, им нравилось говорить не «папа» — «отец».

А мать... У мамы были светлые пышные косы, она укладывала их на голове венцом, но шпильки не могли удержать такую тяжелую массу, и она их часто теряла. Отец находил, подбирал. «Вот, возьми»,— на ладони протягивал матери, а выражение его лица при этом было брезгливое. То есть сын только потом вспомнил, какое у отца тогда было лицо, а раньше он просто привык, что мама теряет шпильки, а отец их находит и говорит: «Вот, возьми»...

Мама по профессии была инженер, но сама считала, что должна была стать актрисой или художницей. Во всяком случае, она выстаивала огромные очереди у театральных касс, вышивала болгарским крестом и разводила цветы на балконе.

Когда одна женщина находится постоянно в мужском обществе, будь это даже близкие ее, с ней непременно случаются некоторые превращения. Либо она тоже набирается мужских повадок, становится, как это говорят, «мужиком в юбке», «бой-бабой», либо, в неосознанном даже протесте, у нее происходит гипертрофия женских черт, легко высмеиваемых, как всякое преувеличение.

С матерью получился именно этот второй вариант. Привязанность ее к бантикам, рюшечкам выглядела подчас карикатурно, хотя, как и болезненная ее реакция на прямолинейность, грубость, имела, вероятно, ту же основу: одиночество женского сердца среди мужских. И это тяжко, когда каждый день, многие годы чувствуешь, что все у тебя не так, как у близких твоих, и что, ну, совсем они тебя не понимают и не желают понять. А объяснение-то такое простое: они — мужчины, а ты — женщина.

...Но кто и когда произнес впервые это слово «икэбана»? Кажется, именно он, старший сын, увидев на обеденном столе букет, поставленный в плоскую вазу матерью, выкрикнул недавно узнанное слово: «Икэбана!»

А мама почему-то смутилась, отвела глаза: «Не знаю, по-моему, получилось красиво...»

Хотя, ясное дело, смутилась она не от сказанного сыном, а от взгляда отца — мужа своего, подчеркнуто-иронично принюхивающегося к букету. «Икэбана!» — повторил он.

А после, когда она как-то надела кофточку, ладно, ей думалось, сидевшую на ней, снова вдруг услышала: «Икэбана!» Стремительно обернулась: кто сказал? Муж и сыновья глядели на нее с притворно-невинными улыбками. Это был сговор. Вспыхнув, она вышла.

«Икэбана»! — опять произнес кто-то на другой день, когда она, уходя на работу, глядела на себя в зеркало.

«Икэбана»! В их семье это прозвучало как клич, означающий начало открытого преследования одним

воинственным племенем— другого, малочисленного. А подготовка, воспитание воинства проводились, конечно, постепенно, загодя. Воспитанием ведал отец. И это он внушил своим сыновьям насмешливое отношение ко всему, что исходило от матери. К ее вкусам, ее интересам, «крему и тюлю», к неумеренной восторженности, с которой она выражала свои впечатления об увиденном, услышанном, к ее девчоночьей экзальтированности, иной раз действительно нелепой для взрослой грузноватой женщины,— но что же делать, она такой родилась, и он, отец, именно такой ее встретил и женился, никто его вроде не заставлял.

Или тогда, в молодые годы, отцовское восприятие было иным, а характер мамы тоже проявлялся как-то иначе? И только позже, с годами, когда уже сыновья родились, отошли они друг от друга на разные полюсы, стали в законченном своем виде теми, о ком говорят: антиподы? Удивительно, что совместная жизнь не сблизила их, а развела. И сын, повзрослев, решил: «Отцу нужна была другая жена. Маме надо было выйти замуж за другого».

Но что должно было случиться в сыновьем сердце, чтобы сделать такой вывод? Он совершенно сознательно признал несовместимость своих родителей — тех, кого природа, закон людской объединили даже самим словом «родители». Кому надлежало вместе состариться и подойти к краю жизни убежденными, что в этот наипоследний час действительно нет никого ближе, роднее и даже собственная смерть не так страшна, потому что куда страшнее остаться доживать в одиночестве.

А его родители шли по жизни каждый сам по себе. Хотя и существовали рядом.

Мама готовила, кормила семью, не переставая удивляться, как много они едят, мужчины. И как спокойно обходятся без того, без чего ей вот жизни нет — без нежного, ласкового слова.

А может, им тоже нужны были такие слова? Может, они просто стыдились в этом признаться?..

— ...Мама,— однажды спросил сын,— почему ты меня никогда не поцелуешь?

Но, чтобы задать подобный вопрос, ему, выходит, надо было повзрослеть, жениться, увидеть другие семьи и порядки там, и только тогда: «Мама, почему ты меня никогда не поцелуешь?..»

Случилось это в один из приходов сына в дом родителей со своей молодой женой. Жена осталась с его отцом в комнате, а сам он вышел за спичками на кухню.

«Мама»... Он сказал это тоном достаточно вызывающим, скрывая так свою неловкость.

А мать подняла глаза — она всегда так глядела на своих мужчин, снизу вверх, они были все высокие, а она маленькая — и улыбнулась:

— Ну что ты, милый... Я тебя целовала, забыл? Но как-то подошла, а ты отвернулся. А потом Коля, когда подрос, тоже от меня отодвинулся. Зачем же мне было приставать? Потом разве это так обязательно? Ведь и без того ясно, как я вас всех люблю.

Молчали. Сын стоял спиной к окну, опершись ладонями о подоконник. Мать резала тесто на лапшу. Кисти рук у нее были узкие, а пальцы грубые, в трещинках, тупые и размятые на концах, почти мужские.

Сын подумал с внезапной неприязнью к отцу: «Он слишком многого хотел. Хотел, чтобы жена его была красива, умна, образованна, чтобы он гордился ею в обществе и чтобы она была первоклассной кухаркой, прачкой, уборщицей. Он был так непомерно требователен к матери оттого, вероятно, что просто ее не любил».

А сам он, сын, не умел и теперь высказать матери свою нежность.

— Мама,— сказал, глядя на все еще пышный венец ее волос.— Ты у нас красивая... И ты бы, наверно, смогла быть намного счастливей, если бы мы, если бы отец... В общем, если бы встретился тебе человек...

Она стремительно обернулась, как тогда — сын подумал,—когда услышала издевательское «Икзбана!». Но выражение лица ее было теперь другим — сын даже удивился — гордым, уверенным.

— Я могла бы быть счастливой только,— сказала она раздельно,— только с вашим отцом. Собственно,— она помолчала,— я и была с ним счастлива...

Сын взглянул на нее, и она, заметив в глазах его сомнение, повторила:

— Я была с ним счастлива. Я его любила, люблю, и он...— Она вздохнула.— Представь, он тоже меня любит. Только не всегда и не всякая любовь открыта взглядам других, даже самых близких...

Сын слушал, сжав пальцами подоконник, потом оттолкнулся от него, как от стенки бассейна при старте, и вышел в комнату, где его ждала жена.

...Они возвращались домой от родителей, держась за руки, влюбленные, любящие. Но в будущем — какое у них будет будущее? Сумеют ли они удержать то, что было сейчас в их руках, в их власти?

«Конечно, с годами,— думал сын,— чувства становятся иными, иначе проявляются. И былая любовь, бывает, уходит вглубь, как бы таится от посторонних взглядов. Люди не ждут уже ее доказательств каждый день, каждый час... Но только детям, растущим в семье, необходимо знать совершенно определенно, что родители их любят друг друга. Мы даже сами, наверно, не всегда догадываемся, как влияют потом на всю нашу будущую жизнь отношения между нашими родителями... Любовь их должна быть очевидной, явной — это так важно детям. Может, даже важнее, чем самим мужу и жене...»

9. Уроки чтения

Я поздно выучилась читать. Виноват в этом мой дедушка. Я родилась, когда он уже отошел от всех своих служебных, общественных и прочих дел и мог посвятить досуг — то есть все свое время — воспитанию внучки. А воспитание мое заключалось в следующем: дедушка мне читал.

Я просыпалась, завтракала, обедала, ужинала, играла во дворе и ложилась спать под однообразные дедушкины бормотания, и так вошли в мое сознание Пушкин, Лермонтов, Толстой, а также и многие зарубежные классики. Дедушка читал только то, что было ему самому интересно, без каких бы то ни было купюр, потому что я была пока так мала, что не могла еще заинтересоваться ничем «не подходящим детскому возрасту».

Временами дедушка засыпал на полуфразе, и тогда я подходила к нему, тормошила: «Ну же, дедушка, ну...» Он открывал глаза, и взгляд его был так ясен и так лукав, что мне не раз казалось, что он просто притворяется, чтобы убедиться, внимательно ли я слушаю, интересно ли мне то, что он читает. Ведь каждый раз, когда я его будила, требуя продолжения, он не сердился ничуть, а, удовлетворенно хмыкнув, снова брался за книгу, стараясь даже какое-то время читать с выражением, но после опять переходя на однообразное бормотание, что, впрочем, не мешало мне следить за разворачивающимися по сюжету событиями.

Беспечное детство мое прервалось, как водится, школой. И, кажется, я была единственной ученицей в классе, не умеющей читать, с превеликими трудами осиливающей букварь: «Ма-ша е-ла ка-шу».

Ученье — свет, но я к нему, признаться, не рвалась, так как дома дедушка продолжал услаждать мой слух многочасовым чтением повестей и романов. И, разумеется, наслушавшись самой печальной на свете повести о Ромео и Джульетте или не менее грустной истории Франчески да Римини, Маша, съев-шая ка-шу, воображение мое не волновала.

Родители думали даже сократить наше с дедушкой общение, но, как и у всех нестарых еще людей, у них было много разных занятий, помимо воспитания ребенка, и мы с дедушкой достаточно времени проводили без их надзора, и тогда, разумеется, дедушка мне читал.

Но он старел. Старость, как и детство, имеет много этапов, и каждый разительно отличается от последующего. Дедушка так же быстро стал терять силы, как я, его внучка, их наращивать. Я уже не воспринимала так терпеливо, как прежде, перерыва в чтении, когда дедушка засыпал. Неблагодарная, я будила его уже с раздражением, почти злобно: «Ну же, ну!..» А как-то выхватила из его ослабевших рук книгу и, подхлестываемая злостью, попыталась читать сама. Мартышка с очками! — такой гнев вызвали во мне мелкие, ускользающие буковки стандартного шрифта. Ма-ша, съев-шая ка-шу, печаталась куда крупнее.

Я отбросила книгу. Первая попытка самостоятельного чтения успехом не увенчалась. И прошло довольно много времени, прежде чем я решилась приступить к следующей. В конце концов, разумеется, барьер был взят, читать я научилась.

А дедушка, в котором у меня отпала нужда, както постепенно исчез из моей жизни. То есть он продолжал стариться, а я взрослеть, но существовали мы теперь отдельно друг от друга, и в отношениях наших появилась как бы некоторая официальность, вежливая и холодная. Меня это мало занимало. А дедушку?

Он, правда, читал только то, что ему самому было интересно, но кто знает, что он вкладывал в это чтение, что думал, когда взглядывал, оторвавшись от книги, на меня, копошащуюся рядом? Что вообще значит для старого, отошедшего уже от всех дел человека существо, в нем нуждающееся, чья привязанность проявляется с той наивностью и открытостью, какие присущи только детям?

Не мне судить, не мне...

Но я бы хотела испытать то, что чувствовал когдато мой дедушка. Я буду читать вслух умные книги своей дочери, а после — дай бог! — и своим внукам. В конце концов это право каждого человека — испытать все, что положено ему судьбой.

10. Вспомним о папах

Вспомним о папах. Ведь им тоже приходится нести кое-какие обязанности по воспитанию ребенка. Тоже приходится кое в чем себе отказывать и кое-как постепенно взрослеть.

Первое, чем приходится им жертвовать, так это сном — долгим безмятежным сном женатого мужчины, просыпающегося лишь к моменту, когда вся квартира уже пропиталась ароматом кофе, и вот тогда, потягиваясь, он, муж, бредет в ванную и неторопливо бреется, принимает душ. Ему некуда спешить: завтрак на столе, рубашка поглажена, пуговицы к пиджаку пришиты. (Хотя замечу, такую райскую жизнь умеют себе организовать не все, но это к слову.)

Так он, муж, живет-поживает до рождения в семье ребенка. Но вот ребенок родился, и сон мужа-отца нарушен, то есть он вообще теперь лишился права спать. Ему, конечно, неловко пребывать в теплой постели, в то время как жена колбасится с младенцем при свете ночника. Он, муж, тоже считает своим долгом участвовать в этих сценах, мучительно борясь со сном, создает видимость, что и от него есть какая-то польза.

Потом он падает, как подрубленный, в кровать, моля неведомое божество продлить сон успокоенного младенца хотя бы до шести утра. Но божество неумолимо, и ровно через час комната снова оглашается криками.

А утром, часов эдак в семь, муж-отец, кое-как одетый и кое-как побритый, мчится в ближайшую молочную кухню, откуда возвращается с бутылочками, мелодично позвякивающими в его авоське.

Душ он теперь не принимает и пьет, обжигаясь, на ходу уже не кофе, а чай со вчерашней оскорбительно-бледной заваркой.

В троллейбусе его шатает, и он пытается удержаться немощной рукой за поручень. Лицо его после беспокойной ночи напоминает лица поэтов, истерзанных вдохновением, а также лица счастливых любовников; но — не спутайте! — он еще счастливее, он — отец.

После окончания работы он, хотя и знает, какие испытания его ждут, мчится со всех ног домой и не может побороть разочарования: сын за время его отсутствия еще не вырос, не пошел в школу, не стал юношей, не женился, а все так же лежит в кроватке, спелёнатый, и бессмысленно глядит в никуда.

Словом, от мужа-отца теперь постоянно требуются волевые усилия, а, согласитесь, это непросто — все время себя преодолевать. И отказываться от многого, что считал раньше привычным и неотъемлемым своим правом, и изменяться столь стремительно, как разве что меняется его младенец-сын.

11. Пять—десять чувств

Обнаружила я это совершенно случайно — исчезновение у меня одного из пяти известных чувств, то есть почти полную утрату вкусовых ощущений.

Вожделенные лакомства! Воображение отказывалось представить что-либо, что мне бы хотелось съесть, насладившись хрустом, запахом, сочностью, нежным прикосновением сласти к нёбу.

Я бездарно жевала на ходу бутерброды, хлебала тупо нечто из миски — и мне было абсолютно все равно, что именно я ем. Неужели теперь это навсегда—навсегда я лишилась способности получать удовольствие от еды? Рассталась с одной из весьма приятных плотских радостей?

...Я шла по Центральному рынку, глядя на горы сочных фруктов и сочных овощей, на все это кавказско-крымское изобилие, демонстрируемое смуглолицыми людьми, воинственно поджарыми или расслабленными от самодовольства, сытости,— шла, глядела равнодушно, точно не реальными были эти плоды юга, а так, муляж...

Я хотела купить яблоки. Но, заметив то, что искала, не ощутила желания надкусить одно из них, крепеньких, пахучих, не сглотнула слюны, а примерилась, хорошо ли поддаются они чистке и достаточно

ли мягки, чтобы серебряной ложечкой наскоблить их сочную мякоть, нужную моей дочке.

Да, мои вкусовые потребности, мой аппетит нацелены были теперь в другом направлении — не в собственный желудок, а в крохотный ротик моей дочки. Представив, как она будет глотать, слизывать сладкую кашицу, я почувствовала подлинное удовлетворение, радость, счастье — и разве сравнить это с теми грубыми ощущениями, какие я испытывала, когда ела сама! Может быть, то забвение себя ради интересов, счастья других, присущее лишь душам исключительного благородства, исключительного мужества, некоторой своей гранью отражается и в материнстве и объясняет его суть?

Более того, задатки доброго потому, наверно, и существуют в каждом из нас, что каждый на этой земле рожден матерью; а после уж твоя забота развить их или задушить в самом себе.

С годами жизнь уводит нас от наших мам, но после рождения у нас детей мы снова к ним приближаемся. Порой даже неосознанно мы повторяем со своими детьми то, что делали с нами мамы. Попытка вернуться в свое детство — вот что еще движет нами, когда мы воспитываем собственных детей.

Мы ходим с ними в цирк, и в нас с удвоенной силой оживает прошлое, мы вглядываемся в него глазами своих детей.

Идем в зоопарк, покупаем у лоточницы мороженое. Засматриваемся на витрины с игрушками — мы молодеем рядом со своими детьми. Ощущения наши, наше вйдение обретают вновь ту же остроту, что была присуща нам в нашем детстве.

Если человек почувствовал, что устал, что жизнь перестала радовать его, притупились желания, интересы,— пусть он родит сына! Пусть родит дочь! Силы, желания, радость жить сызнова хлынут к нему, хотя и по другому уже руслу.

То, что тешило только лично его, что было оплотом эгоизма, отомрет, отшелушится, но появятся новые ростки: радость от того, что радуется другой, что то, чем его кормят, ему на пользу и вкусно, что ему и тепло и хорошо...

Мне показалось, у меня исчезло одно из пяти известных чувств. Я ошиблась. У меня теперь их не пять, а десять.

12. Плач по прошлой свободной жизни

Нет, серьезно, я теперь понимаю, почему некоторые разводятся в скором времени после рождения ребенка. Не выдерживают. Срываются. И трудно уже бывает нарушенное восстановить.

И не такие это пустяки, как может показаться: не спать ночь, много ночей подряд, отказаться — пусть и на время — от своего обычного — тогда выясняется, что и любимого! — дела, утратить привычный облик — для женщины это, что и говорить, огорчительно. И завидовать мужу, которому декрет по уходу за ребенком не дают, а потому он идет каждый день на работу — он счастлив, свободен в конце концов! Он видит людей, шагает по улицам — ему доступно все то, прежде мною недооцененное, чего я теперь лишилась. А потом он возвращается домой, принося с собой отголоски увиденного, услышанного за день, и готов со мной этим поделиться. Но мне унизительно подбирать крохи чужих впечатлений, пусть даже собственного мужа — я привыкла видеть, слышать сама,— и неучтиво его прерываю, громыхая посудой в раковине.

Он, сидя за вечерним чаем, позволяет себе рассуждать о воспитании детей в о о б щ е, приводя цитаты из книги знаменитого доктора Спока, прогнозирует будущее, когда вот дочка наша подрастет.

А для меня будущего в данный момент нет, я его не вижу, я вся в настоящем, сиюминутном: надо выгладить пеленки, и прокипятить ползунки, и яблочко натереть на — обязательно только пластмассовой! — терке.

Муж говорит вкрадчиво, как с ненормальной: «Как ты себя чувствуешь, ничего?»

«Ничего,— отвечаю я, пытаясь сдержать зубовный скрежет.— Да нет, что там, просто отлично! Небось, завидуешь, да?»

Муж застенчиво опускает взгляд: а что он в самом деле может сделать!

Чем ближе к ночи, к последнему вечернему кормлению, тем ненавистней кажется мне все вокруг. Меня могла бы теперь понять, наверно, только девочка из небезызвестного рассказа Чехова.

Муж говорит: «Пожалуйста, сдерживайся, хотя бы ради ребенка»,— и смотрит мимо меня на жалкий комочек, лежащий в кроватке. В его лице сейчас гораздо больше материнского, чем в моем, перекошенном от злости.

Но на кого я злюсь, против чего протестую? Господи, я и вправду сошла с ума — забыла, как мечтала, как ждала... Неужели устройство мое таково, что я не способна вообще долго радоваться тому, что уже достигнуто, что превратилось в реальность?

Я неблагодарна и небережлива. И сейчас мне хотелось бы удрать куда-нибудь, где меня не знает никто, вести себя так, будто я сама себя не знаю. Я бы шаталась по городу, заглядывалась на прохожих, машины, дома, и время, четкий его ход, ничуть бы меня не волновало. То есть я снова хотела бы сделаться той, какой когда-то была, свободной и независимой, но вспомнить — была ли я такой уж тогда счастливой? Я ждала и тревожилась, и будущее вовсе не казалось ясным мне. И сейчас, когда я гляжу на нынешних семнадцатилетних, я знаю, по собственному опыту знаю, что жизнь их отнюдь не проста, отнюдь не безоблачна. И вряд ли, будь мне такое на самом деле предложено, я бы хотела попасть в их положение, вновь стать семнадцатилетней.

Нет, мне дорог мой опыт, за него достаточно уже заплачено, чтобы я так смело от него отказалась. Повторять снова прежние ошибки или переживать последствия новых, неизбежных в юности,— ну, нет!

Нет, не хочу снова сделаться доверчивым щенком, не хочу по глупому неведению обижать людей достойных, хотя и в нынешнем своем возрасте я не столь уж мудра и не гарантирована от последующих глупостей.

Но всему свое время, и каждому возрасту — свое. И, думается, если бы человек всегда только в прошлом находил радость, он никогда за всю свою жизнь не почувствовал бы себя даже на миг счастливым.

Ведь счастье — это именно то состояние, которое возникает в нас самих, когда мы даем себе труд его заметить, зафиксировать — вот сейчас, сию минуту. Обстоятельства же для его возникновения могут быть самые незначительные, непонятные подчас глядящему со стороны. К примеру, просто утро, такое же, как, впрочем, было вчера: но солнце, пропитавшее занавески и заползшее в комнату, вдруг высекает в душе столь светлую вспышку радости, что хочется вскрикнуть: «Как хорошо!..»

Или зимой, или весной, осенью, в лесу или у моря — да что говорить, много нашлось бы поводов ощутить себя счастливыми, если бы мы всегда пребывали в готовности встретить это свое счастье!

Но... Может быть, в подверженности своим настроениям, в перепадах, когда одно чувство сменяет другое — предельно ясное, а то вдруг мрачное,— люди и находят себя, взаимосвязь свою с природой, с землей, с тем странным и запредельным, что, думается, все же существует над всеми нами? И можно ли вынуждать людей быть рассудительными и в горе своем и в радости, когда им трудно бывает вообще одно от другого отделить, и они говорят о себе: «В печали весел, в веселье печален»?

А так ли уж они неправы? Не проникает ли в нас в момент даже самого полного счастья крупица сомнения, горечи, что вечным ничего быть не может, и минет, исчезнет зтот светлый час, а знаем ли мы, что ждет нас дальше?

Ну, а любовь? Судорожные объятия, сплетение рук, сплетение тел—не от отчаяния ли? Не попытка ли зто удержать неудержимое, выразить то, перед чем не только бессильны человеческие слова, но и мы сами, люди, бессильны? Не протест ли зто жизни, жажды жить перед неизбежностью нашего исчезновения?

Но я начала с того, что понимаю теперь, почему некоторые разводятся в скором времени после рождения у них ребенка. По́лно! Можно ли счесть такой исход понятным, нормальным? И не лицемерны ли утешители, уверяющие, что, мол, разводы сейчас никакая не драма, потому что разводится чуть ли не каждый второй... Ну, а умирает, раньше или позже, вообще каждый — так разве будничнее, привычнее стала для людей смерть? Кто, теряя близких, утешает себя, что миллионы зто пережили и миллионам еще предстоит?

А когда рвется какая-то нить — будь то любовь, дружба или просто привязанность,—нам больно.

13. Пластический этюд, или дайте мужа Нине Ковалевой

Я — Нина Ковалева, тридцати девяти лет от роду — заявляю, прошу, требую: дайте мне мужа. Толстого, тощего, хромого, лысого, алиментщика в конце концов! Женщина д о л ж н а иметь мужа. Умная или дура, красавица или урод — но должна, имеет право. Удовлетворение в работе, симпатичные друзья, развлечения, свобода, равноправие — все зто к черту, если нет мужа, нет любви. Любви законной, приличной, пристойной, твоей собственной, а не одолженной, не уворованной у кого-то на день, на два. Любви, любви...

Мы с мужем разошлись пять лет назад, но не о нем сейчас речь, прежнего не воротишь. Разменяли квартиру. Ему — телевизор, мне — холодильник, ему одно кресло, мне другое. По справедливости. Претензий друг к другу нет, и пошли в разные стороны.

И началось. Тридцать пять стукнуло, тридцать шесть, а теперь вот тридцать девять. Куда дальше — в одиночество, в старость? Не хо-чу! Смотрю на свои ноги: длинные. Смотрю на волосы: много уже седины. Улыбаюсь запломбированными зубами: времени теперь свободного достаточно, могу за здоровьем следить. И за прической, за модой. Никогда, пожалуй, я не выглядела так хорошо — отчаянно хорошо,— и никогда не была так несчастлива.

Я ничуть, по-моему, не хуже своих замужних подруг, но и не лучше тех, кто, как и я, одиноки. И вот мы, одинокие, объединяемся. Но все мы, женщины, так сказать, интеллигентные, образованные, и даже друг перед другом стесняемся признаться открыто: нужен муж. Прикрываемся усмешечками, шуточками, будто все зто не всерьез. Но себя-то разве обманешь? Да и от других одиночество свое, необогретость разве скрыть?

А мама полжизни внушала: нельзя на улице знакомиться. А где? Скажи, мама, где? Уж не в «офисе» же нашем, где на каждого женатого мужика пять незамужних женщин! Так где же?..

Вот дочка моя (у меня есть дочь) на танцы сходит или на вечеринку какую, так потом ей с неделю обрывают телефон. А я голосом строгой дуэньи отвечаю: «Наташи нет дома...»

Наташе семнадцать, мне тридцать девять. У юных свои правила игры, у нас, взрослых, другие. Только вот такие запутанные, что иной раз и не разберешь, где чистая идет игра, а где нечистая. А у меня каждый раз все срывается. Хотя не только от меня уходят, но и я сама ухожу: непонятно даже почему, вдруг делаюсь ужас какая разборчивая. Стыдно мне чего-то, неловко. И страшно: вдруг еще хуже будет, чем сейчас, пока я все же надеюсь, все же жду... И воспоминания дурацкие всплывают, как надо, как положено, как могут люди любить... А после руки ломаю, вою: дайте мужа! Толстого, тощего, хромого, лысого, алиментщика в конце концов!

Родного хочется встретить, близкого, понимающего. А вокруг ходят чужие, и даже мурашки ползут — оказаться с таким вот чужим! Хотя, ясное дело, родственность сразу не возникает, прижиться надо, притерпеться. Но неужели обязательно надо какое-то время терпеть, жить, стиснув зубы? Ведь любовь — зто не ледяной душ, под который вступить — и замрешь. Любовь — зто ведь не чтобы съежиться, а чтобы раскрыться всей. Любовь, любовь...

Моей Наташке проще. И вообще, мне иной раз кажется, дубленые у них души, у нынешних молодых. А с меня будто кожу содрали, все больно, как ни живи. Грусти или веселись — больно.

Дайте, дайте мне мужа, чтобы опереться на его плечо и вздохнуть наконец глубоко, спокойно.

Наверно, у меня старомодные представления, но я, например, не могу понять, почему теперь нам, женщинам, нужно мужчин обхаживать, а не наоборот, как принято было раньше.

«Не хочешь? — говорят мне подруги.— Ну и будешь сидеть одна, как сыч. И выйти будет не с кем и некуда».

Не знаю... Я не амазонка, не охотница, чтобы лассо закинуть и поймать мужика. Хотя, собственно, не в том дело — где их ловить?

Хорошо, конечно, что дочка у меня есть. С работы прихожу — в окне свет горит. Не нужно самой в темноте нашаривать выключатель. Но ведь ей семнадцать, и пройдет год, два — уйдет, заживет своей семьей, самостоятельно. А я?..

И вот она меня жалеет, моя дочь. Она мне опора, не я ей. Нормально ли зто? Думаю, нет. Думаю, когда дети раньше времени взрослеют, трезвеют, соображают, что́ в зтой жизни к чему, душа их при этом не только закаливается, но и черствеет. И те, кто осуждает нынешних молодых, не дают себе труд задуматься: в чем причина, корни в чем?..

У Наташки низкий, хрипловатый голос — многим нравится, модно, говорят. А я-то знаю, как зто получилось, как она себе «модность» такую заработала... Еще младенцем вопила, а у меня времени не было подойти — диплом тогда готовила, и с мужем жили плохо. Кричали друг на друга, заглушая Наташкин писк, совсем голову теряли...

В такой вот обстановочке росла моя дочка. И кто знает, может, она еще крохой соображать начала, что на маму на такую ей нечего рассчитывать.

Вообще-то я недурной человек, и люди ко мне неплохо относятся, говорят, отзывчивая я и зла не помню. Только вот воли не хватает, собранности. Так ведь, бывает, и таких любят, некоторым даже как раз и нужна такая жена, чтобы глядела мужу в рот, а сама и пискнуть не смела.

Нет, честно, из меня может совсем неплохая жена получиться. А как мать, признаю, никуда не гожусь. И только бы пронесло, только бы все устроилось с Наташкой. Встанет на ноги, тогда только вздохну... Нет хуже несчастья, когда в беде наши дети. Мама говорила: «Руки-ноги есть? Радуйся». Теперь я считаю: «С Наташкой порядок? И хорошо». Но совсем бы было прекрасно, если б и у Наташки жизнь устроилась, и я из бабьего своего одиночества выплыла... Только трудно нынче женщинам счастливыми быть.

Вот недавно смотрела по телевизору передачу. Концерт. Объявили: «Пластический этюд». Двое в светлых трико вышли и стали под музыку разные акробатические номера выделывать. То один другого поднимет, удержит на правой руке, на левой, на плече, на ноге, то наоборот. Смотрю: один — мужчина, а другая-то женщина! И не богатырша какая-нибудь, нет, внешне вполне обычная. И мужчина никакой не особенный, не субтильный, обычный мужик.

А работали одинаково, и задачи у обоих были одни и те же: то он ее поддержит, то она его... Господи, я подумала, что же это такое! Вот оно равенство, наглядно доведенное до идиотизма. Значит, никаких нам теперь скидок, никаких льгот, делай то же, что делают мужики, и никто даже не удивится, не сочтет нужным как-то отметить, выделить нашу женскую суть. Ведь хоть бы бантик, хоть бы ленточку той акробатке повязали — так нет, тот же костюм в точности, что и у ее партнера-мужчины. Мол, не в этом дело. А в чем?

Да, я подумала, трудно мне на что-либо рассчитывать. Я ведь мужчину на голове своей не удержу и не подкину вверх во весь рост на ладони...

14. Мама нас обманула

Мама нас обманула. Она внушила нам, своим детям, что если мы не оправдаем ее надежд, не сможем выдержать тех требований, что она к нам предъявляет, мы лишимся ее любви. И она добилась, что с детства и по сей день ее мнение о нас, о наших поступках волнует нас чрезвычайно.

Мы, уже взрослые люди, не можем и дня прожить в ссоре с ней. Невыносима мысль, что мама нас от себя отлучила, что она разочаровалась в нас.

Как ей это удалось? Как сумела она своей строгостью, сдержанностью, даже, пожалуй, жесткостью не оттолкнуть нас, а, напротив, вызвать такую к себе любовь? Мы не сомневались, что у нее хватит сил вообще нас разлюбить, сверши мы что-либо неблаговидное. Она нас осудит, она нас будет презирать и не оставит возможности оправдаться.

А когда мы были детьми, нам даже казалось, что мама наша наделена чудодейственной проницательностью, что она — вещунья, и ей соврать — земля разверзнется. Это так крепко засело в нас, что и по сей день мы не смеем ей лгать, ребячливо опасаясь грома небесного после допущенного такого кощунства.

Как ей это удалось? Ведь ее ласка, ее одобрение для нас и теперь высшая благодать. Почему? Потому что она нас редко ласкала, редко хвалила?

Мне просто необходимо теперь разгадать эту тайну: в чем мамина сила? Как она добилась такой над



нами власти и отчего мы приняли, принимаем эту власть добровольно, более того, с благодарностью? Ну в чем секрет?

Постараюсь вспомнить...

Мама будила нас в семь утра, а сама вставала в шесть. Мама отказывала нам во многих удовольствиях, но и сама от многого ради нас отказывалась. Жила, подчиняясь той же суровой дисциплине, в которой воспитывала нас, своих детей. То есть она действовала так, как и следует мудрым правителям: чтобы закон, ими продиктованный, был принят, надо и самим следовать тому же закону; тогда это будет восприниматься не как тиранство, а как справедливость.

Дети же распознают справедливое ничуть не хуже взрослых людей. А память детская, как известно, восприимчива особенно. Но, взрослея, дети почему-то стараются выискать в своей памяти что-либо, что дает им возможность упрекнуть родителей: это какая-то странная, но неистребимая потребность. Отчего она возникает? В самооправдание, в утешение? Ведь дети все равно не могут дать своим родителям столько же, сколько получили сами от них. И чтобы снять тяжесть с души, облегчить совесть... Справедливо? Навряд ли. Но закономерность, увы.

Некоторые даже ожесточаются, придумывают себе обиды, чтобы только не висел над ними их неоплатный долг, и рвутся к самостоятельности, независимости, из-под опеки родителей, вроде уже им ненужной.

Мы, мамины дети, тоже, признаться, испытали нечто подобное. Обязательства, налагаемые любовью, вообще не просто выдерживать. И вот, на что-либо разозлившись, мы решали: хватит. Пора начать новую жизнь, какая положена взрослым людям, пора покончить с рабской зависимостью, жалкой, стыдной, когда в конце концов есть собственная семья.

И наступали часы, дни якобы освобождения, упоения собственной решимостью, твердостью. Казалось даже, что прибавлялось сил, смелости — вот можем и без них! Без их советов, нравоучений, без... Да, избавились наконец от этого их всевидения, всеразумения, от того, что их ни в чем никогда нельзя обмануть.

Они, они...

Но вдруг неосторожно подпущенное воспоминание: растерянная улыбка отца и тот медлительный его жест, когда он снимал очки, будто они у него запотевали... Мамин голос, когда она... Ее округлый твердый волевой подбородок, напряженный, чтобы сдержать дрожание губ.

И все — обрыв. Бежать, просить, вымаливать, плакать, не стыдясь своих слез, чувствуя, что отступничество твое — пусть и только на время — еще туже захлестнуло петлю, опять ты в том же кольце своей к ним любви. И только так ты можешь существовать, только зная, что они есть и любят тебя, можешь жить спокойно.

Я напрягаю свою память, но не могу отыскать ничего, что позволило бы в чем-либо упрекнуть мою маму. Она безупречна.

Знаю, что бо́льшее сочувствие и бо́льшее доверие вызывают образы, в которых равно замешано как доброе, так и дурное — это, считается, подтверждает их жизненность. Я тоже склонна к такому мнению. Но утверждаю, исключение есть: наша мама. Хотя замечу, в тех своих проявлениях, когда она м а т ь. Именно в материнство обратились лучшие стороны ее души, именно там реализовалось все богатство ее натуры.

Но она, мама, нас обманула. Она внушила нам, своим детям, что если мы не оправдаем ее надежд...

Ну, так это неправда! Она бы любила нас, несмотря ни на что. Но любили б ли мы ее при этом так же? Не знаю... Любовь надо воспитывать, как и чувство долга, как способность к труду.

Возлюбленный мой — мое творение. А мы, мама, твои. И теперь мы уже догадались, зачем ты нас обманула.

15. Дача

Дача — большая, громоздкая, надстраивающаяся постепенно, в разные годы и потому, верно, такая нескладная: с балкончиками, раздутыми, как флюсы, с осевшей террасой, с голубыми елями, приблизившимися своими мохнатыми ветвями к самому крыльцу,— продавалась.

Принадлежала дача человеку, увеличенная фотография которого висела в комнате на втором этаже, рядом с такого же формата портретом его жены. Веревочные петли вытянулись, портреты висели криво. Худое узкое лицо молодого военного в форме с петлицами — светлые в прищуре глаза, рот пухлый, ребяческий, со вздернутой верхней губой.

Лицо его жены женственно-округло, с волосами, гладко приспущенными на уши, как носили в то время.

Т о время...

Очень большая, верно, была у хозяина дачи семья. Очень много комнат. Без подсказки в них можно заблудиться. Хозяев нет. Невестка, жена младшего сына, дачу эту не любит, сама в ней чужая и двери в комнаты перед покупателями отворяет не очень уверенно, будто не зная, забыв — что там...

Там — запустение. Но хотя совершенно ясно, что давно не ходили по этим полам и давно не звучали там голоса,— чувство неловкости, как бывает при внезапном вторжении в чужую жизнь, не проходит.

Дача строилась прочно. Строилась надолго. Строилась не только в расчете на собственную жизнь. Напротив, собственной жизни у того человека оставалось уже мало, когда хватило денег, средств, чтобы такое строительство затеять. Фотография, что висит в комнате на втором этаже, запечатлела его в те годы, когда ни о каких дачах ему и мыслей не приходило. Другим была занята его голова. Другое было время. Запавшие щеки, узкое скуластое лицо, взгляд светлых глаз строг и пристален — высматривает что-то далеко-о!..

Но крестьянское в лице, крестьянское, перешедшее по крови от деда, от прадеда, крепко сидело в нем. И чем бы он ни занимался, как бы ни складывались обстоятельства его судьбы — это кровное, сердцевинное не заглушалось. Возможно, оно и подняло его так высоко, до генеральского звания, как не поднимало никого из его предков,— и мечта о большом красивом прочном доме для всей семьи наконец им осуществилась.

Дача выстроена была не в один год. Что мог, генерал сам делал своими руками. Теперь для него это уже была прихоть — самому пилить и рубить. Он был еще достаточно сильный, крепкий и радовался, когда что-то удавалось сделать самому.

Все сам. С почти ребяческой увлеченностью не давал сыновьям вмешиваться. Не очень, впрочем, и доверяя им. С благородным намерением все самому для них сделать. С родительским, человеческим эгоизмом наслаждаясь сладостью труда для д р у г и х и оставляя этих д р у г и х в стороне, наблюдателями.

Мальчики, сыновья, росли послушными, почтительными. Немножко вялыми, немножко рассеянными. Дача строилась у них на глазах. Они видели мускулистую, в запотевшей майке спину отца: они им вос-

хищались. Они катались на качелях, и когда доска под их ногами кренилась, а потом взлетала высоко к небу,— небо это, казалось, наскакивало на них, и валилось, и прижимало их своей тяжестью, отбрасывало опять к земле, а потом снова они взлетали...

Качели... Между двух высоких сосен. Толсто-витая, проржавевшая уже проволока, вдетая в тяжелые ржавые кольца. Качели тоже сделаны прочно, надолго — и для внуков.

Уж, конечно, генерал старался не для одного себя. В нем, как во всяком здоровом человеке, жило и грело его душу чувство преемственности, продолжения рода: от отца к сыну, от отца к сыну, от отца к сыну... Очень земное и очень высокое чувство.

Генерал по натуре своей, по характеру, по призванию был военным человеком. Мужественно-дисциплинированный, может, чуть жестковатый. Широкий и снисходительный к своим детям. Но и требовательный, но и вспыльчивый, бывало, и гневный. Словом, богатая, одаренная натура. Недаром он добился всего в жизни сам. И потому, естественно, простительна ему была властность — он к себе испытывал уважение и ожидал того же и от других...

Ну, конечно, его уважали! Его даже — скрыто — побаивались. И одновременно гордились. Когда он входил на высокое крыльцо дачи в жестком своем, нарядном генеральском мундире, ладный, стройный — оплот семьи.

Он и умер хорошо, достойно. Приложил ладонь к сердцу, прилег на кожаный с валиками диван, и в лице его не было страха, суеты — спокойное, гордое приятие человеком своего удела, к которому он, казалось, давно уже был готов.

Сыновья его любили. Сыновья им так гордились! Они с детства привыкли считать себя сыновьями такого-то. Так и отрекомендовывались при знакомстве С наивным, детским даже каким-то хвастовством несли свой высокий — им представлялось — чин сына.

А между тем взрослели, а между тем старели. Внешне оба были похожи на отца, на тот портрет, что висел в комнате на втором этаже.

Один сын был инженер, другой медик. Зарплата у обоих была одинаковая — сто пятьдесят рублей.

«Куда такая дача?» — сказала жена сына-инженера. «Что делать с такой громадиной?» — поддержала ее жена сына-медика. «Надо ее продать»,— решили обе жены.

Сыновья пока молчали.

На этой даче они выросли. Там были качели, взлетавшие высоко к небу, и голубые ели, ставшие за годы очень большими. Там было много такого, что ушло навсегда, что не было теперь зримо постороннему глазу, но что берегли и не могли враз выкинуть из своего сердца сыновья.

Поэтому они и молчали.

Но ничто так не раздражает женщин, как молчание. Оно их оскорбляет, оно их унижает. А когда за ним еще и бездейственность...

Жены решили заняться дачей сами. Позвонили знакомым, повесили объявление. Потом объявление сняли: стало почему-то неловко.

Но покупатели появились. Ходили по даче, заглядывали в опустелые комнаты. Им нравилось, но они были смущены.

«Куда такая дача? Что делать с такой громадиной? — переговаривались они шепотом.— А сколько времени на ее уборку придется тратить?..»

Люди привыкли к иным измерениям пространства. Привыкли и чувствовали себя вполне уютно в своих малогабаритных квартирах. В общем, у каждого имелись свои доводы: дачу не покупали.

...Молодой военный в форме с петлицами глядел светлыми в прищуре глазами на посторонних людей, появлявшихся время от времени в построенном им доме. Узкое юношеское его лицо, казалось, выражало презрительное недоумение. А если бы лицо это вдруг ожило, что тогда? Если бы уже не этот юноша, а зрелый, много испытавший и многого добившийся в своей жизни человек увидел, осознал, что ныне происходит с его домом, с его сыновьями — что бы он почувствовал тогда?.. Гнев? И в страхе разбежались бы его наследники... Или внезапно настигло бы его раскаяние, точнее, смутное сознание какой-то своей вины, которая и стала причиной нынешнего развала, расстройства, неудачи судеб его сыновей?..

Но почему, собственно, он должен быть в этом повинен? Разве так беспредельна ответственность родителей, и она распространяется даже на совсем уже взрослых детей? Разве возможно насильно вложить в них свое понимание, свое отношение к жизни? Заставить быть энергичным и жизнедеятельным совершенно не приспособленный к тому организм?

Разочарование... Да, вероятно, именно это ощутил бы генерал. То, что он верно понимал под продолжением рода, оказалось униженным, оскорбленным. Но где гарантия, что нет ошибки в таком поверхностном — мельком — взгляде на двух генеральских сыновей, чья жизнь получилась неприметно-скромной в сравнении с жизнью их отца, но это еще недостаточно для справедливой оценки их, не так ли?

А вот дача продавалась, и о ней можно было судить, как кому вздумается, не церемонясь.

Сыновья, то есть их жены, решили продать дачу по частям. Верх, низ, правая пристройка, левая пристройка... Вырученные деньги братья разделили поровну.

И правда, кому нужна такая громадина?..

16. Люблю за то...

Какая любовь больше — когда любят з а т о... з а э т о.., или когда любят н е с м о т р я н а?.. Глупо, быть может, но меня это занимает. Я все же думаю, что не настолько уж неподвластно разуму это чувство — любовь,— чтобы рассыпаться, распыляться при первой же попытке его осмысления, разбора.

Хотя, конечно, мы, люди, не можем не признать, не угадать в себе, помимо рассудка, еще и тайное, неподвластное нашему разумению, что движет, питает наши чувства, дает толчок воображению.

Итак, какая любовь больше, когда любят «з а т о... з а э т о» или когда «н е с м о т р я н а...»?

Так уж сложилось, что любовь «несмотря на...» воспринимается большинством возвышенней, благородней любви «за то... за это...», хотя причина, возможно, в том, что любовь «несмотря на...» воспевалась чаще, чаще высказывались именно ее сторонники — поэты, художественные, артистические натуры,— а люди других профессий им внимали, поддаваясь постепенно их влиянию.

И не замечали, а может, не хотели замечать, что им лично ближе, понятней любовь «за то... за это...» — то есть такая, где ясно п о ч е м у любишь: ты открыл в другом милые черты, качества именно тебе необходимые — и в этом твоя опора, основа твоих чувств, гарантия надежности, верности. Поэтому, наверно, любовь «за то... за это...» скромнее, стыдливее другой, «романтической» любви: ей нет нужды себя оправдывать и самою себя воодушевлять. Пожалуй, главное для нее — бережное обращение.

Я знаю, что могу навлечь возражения, мол, вообще любые категорические утверждения, когда дело касается «сферы чувств», могут встретить протест — и справедливый. Но ведь те, кто воспевает любовь «несмотря на...», не осторожничают, не ограничивают себя полутонами и полунамеками, а взывают, спорят, декларируют, отстаивая свою правоту. Они говорят: знаю, пережил, перемучился, перетерзался и считаю, что именно так нужно любить. И как не согласиться: сила страсти не может не вызвать сочувствия. И, конечно, когда такой ценой за любовь заплачено, разве можно ее не признать?

Признаем, признаем, разумеется, любовь «несмотря на...», и пусть и дальше воспевают ее поэты! Но ведь это не умаляет и любви другой, доступной большинству и большинство делающей счастливыми.

Такая любовь не бунтарка, не требует особых условий для себя и легко повинуется тем законам, что выработало человеческое общество. Она даже, пожалуй, гордится своей «законностью», тем, что в загсе ее скрепили штампом, хотя, разумеется, не это делает ее прочной.

Именует она себя супружеской. И счастлива, когда ее узы скрепляет еще и рождение детей. Тогда она требует к себе отношения еще более осторожного.

Наверно, и говорить-то не стоит, что так, как любят ребенка его родные отец и мать, его никто никогда любить не будет.

Может, встретится мне человек, способный, скажем, полюбить меня больше, ярче, чем любит меня мой муж, но никогда не сможет он так смотреть, так улыбаться, так тревожиться и так радоваться за нашу дочь, как это возможно при кровном отцовстве.

Когда мы купаем в ванночке нашу девочку и покрикиваем друг на друга — ты, мол, делаешь не так, и мыло ей в глаза лезет,— я верю рукам моего мужа, держащим тельце нашей крохи, мне спокойно за нее, и я счастлива. Хотя могу и наорать: «Куда ты смотришь в конце концов! Ей же мыло в глаза попало, мыло!»

...Хорошо бы мне всегда об этом помнить...

17. Слава

Мальчика звали Слава. Мне было одиннадцать, ему десять лет.

Он был светлоглазый, светловолосый и смуглый. И еще помню его голос, низкий, хрипловатый, почти совсем мужской.

Так случилось, что родители наши подружились, и мы, их дети, тоже должны были дружить. К тому же сверстников наших в том санатории не было, и стало бы скучно, не появись тогда Слава. И Слава обрадовался, когда появилась я.

Порядки в том санатории были строгие, и строг, пышен, громадеч главный его корпус — с колоннами, галереями, башенками— почти дворец, хотя построен был сравнительно недавно. Вся мебель там затягивалась белыми крахмальными чехлами, а стены парадного зала были украшены картинами южной санаторной жизни: мужчины в белых панамах и белых кителях, похожие своим подчеркнутым европеизмом на отрицательного героя оперы «Чио-Чио-сан», и загорелые женщины — в подчеркнуто скромных, целомудренных позах сидели или стояли на фоне моря, скал или щедрой южной растительности.

Еще там был парк, очень ухоженный, сплошь залитый асфальтом. Фонтаны со скульптурами — словом, цивилизация. А ночью спускали с цепи собак, и выходить из комнат уже было нельзя — опасно.

Вот такое выбрали наши родители место, чтобы отдохнуть, набраться сил на зиму. А нас, детей, конечно, не спрашивали — привезли с собой, и все. Ну что же, мы, как могли, себя развлекали. Слава и я.

Слава не походил ни на одного из известных мне мальчишек. Грубость, задиристость, неловкость и замкнутость, свойственные такому возрасту, не коснулись его. Он был серьезен, независим, вежлив и внимателен, как взрослый. И он меня опекал.

Он заходил за мной перед завтраком, обедом, ужином, ожидал на скамейке, пока я поем, и нес вечерами в руках мою кофту, на случай если продрогну. Насмешливые взгляды и неумные шуточки его не задевали. Мы шли с ним, держась за руки, я была под его защитой и не сомневалась, что он сможет меня защитить.

Мне и самой это кажется странным, но никогда потом и ни с кем я не чувствовала себя такой защищенной, такой спокойной и обласканной вниманием, как в то лето, когда встретила мальчика Славу.

Возможно, если бы мы с ним не потеряли друг друга, если бы встретились, скажем, через десять лет, мне бы не пришлось узнать мужской слабости, шаткости, никчемности — всего того, что рождало во мне недоумение,— и я бы думала, что все мужчины такие, как Слава, потому что другими им недостойно быть.

Возможно, я бы сама получилась другой, будь со мной рядом такой, как Слава. Я бы подчинилась, покорилась его заботливости, его нежной силе, мне не надо бы было других, слабых под себя подминать и доказывать им и себе свое превосходство. Возможно, я бы стала счастливейшей из женщин, потому что признала, поверила бы, что мужчины сильнее, умнее нас.

Но этого не случилось. Мальчик Слава уехал, и я уехала, и мы, потому что были детьми, не предприняли ничего, чтобы в этом мире не потеряться, не догадались, что расстаемся навсегда.

И никто не подумал о нас, не позаботился, не помог, не подсказал. А у нас у самих совсем не было опыта. Мы не успели еще узнать, что судьба отнюдь не всегда оказывается щедрой и что надо ее благодарить, когда она дарует в с т р е ч у.

Я вспомнила об этом, потому что у меня родилась дочь. Родители обязаны все о себе помнить, все обдумывать, чтобы помочь своим детям стать счастливее, чем были мы.

18. Двое

По воскресеньям шли либо к родителям Маши — они жили у Красных ворот,— либо к родителям Миши на Палиху.

У родителей Маши готовили украинский борщ, голубцы или вареники — фирменное мамино блюдо.

А у родителей Миши супа могло не быть, но зато всегда давали пирожные или торт, правда, покупные, но все равно вкусно.

Маша и Миша уплетали за обе щеки, потому что всю неделю питались кое-как и являли собой, как уверяли их мамы, потенциальных язвенников.

С родителями с обеих сторон отношения у этой пары сложились весьма доброжелательные: доказательство тому хотя бы воскресные их визиты то в один родительский дом, то в другой.

Правда, когда бывали у Машиных, назревали иной раз ссоры, и только Мише, с его тактом и сдержанностью, удавалось сохранить мир.

Позже, возвращаясь домой, он увещевал свою жену, а она, гневно вспыхивая, его перебивала: «Не

понимаешь! Я ведь потому и не могу сдерживаться, что люблю их!»

Миша кивал. Он уже на собственном опыте успел узнать, что любовь его жены выражается подчас парадоксально: точно она пытается и от себя самой и от других свои чувства скрыть, поэтому так раздражительна, придирчива бывает. Но даже в разгар ссоры Маша, по ее словам, продолжала любить и даже, более того, любила, мол, в такие моменты еще сильнее и ощущала уже тогда свою вину, готова была раскаяться, только вот не удавалось ей никак остановиться, затихнуть, оставить последнее слово не за собой. Такой вот у нее был характер. Такие она приводила доводы. Миша слушал. А после забывал. И когда она вновь с ним ссорилась, говорила обидные слова, ему было больно.

Так они жили. При всем при том согласно, при всем при том любовно. За три совместно прожитых года сблизились уже настолько, что в своих оценках, вкусах, мнениях были почти всегда едины, и такое духовное братство радовало их больше всего.

Они чувствовали себя прочнее в этом мире от того, что нашли друг друга, и снисходительно жалели тех, кому не так повезло.

Они обсуждали личную жизнь знакомых пар с той беспощадностью в оценках, какую позволяют себе именно счастливые люди. Обсуждали, хотя и с бо́льшей осторожностью, и личную жизнь своих родных.

После того, как они покинули родительские гнезда, их взгляд, им казалось, обрел особенную пристальность, и они замечали теперь такое, что раньше разглядеть не могли.

Когда приходили к Машиным, возникала суета, все говорили в полный голос, все чувствовали себя оживленными, а оживлением легко подменить радость. То есть в начале радость в самом деле возникала, но трудно получалось ее продлить, удержать, потому что в доме оказывались два разных поколения, две семьи — а уже только это создавало само по себе напряжение.

Прошло, видно, время больших многолюдных домов, где под одной крышей уживались и отцы, и деды, и внуки, и племянники, и дяди с тетками. Нынче, как создастся новая семья, так сразу стремится к отделению, а хорошо ли это, плохо ли — к чему судить! Будем считать — дань времени. И задача теперь другая: как недлительное пребывание родственников вместе сделать по возможности бесконфликтным, чтобы из редких этих встреч произрастала любовь, дружба, а не вражда.

Хотя на примере семьи Маши можно было бы сказать, что настоящая кровная любовь все шероховатости сгладит, все собою захлестнет, все простит и все забудет. Только вопрос — не дорогая ли выходит при такой любви плата за примирение? Нервы, слезы, сердечные спазмы — а после снова мир? Нельзя ли поэкономней силы расходовать, как в ссорах, так и в примирениях?

«А знаешь, почему у нас все в конце концов завершается хорошо? — спросила как-то Маша Мишу после очередного воскресного визита.— Потому что любят они друг друга, мои родители. Вот. А это главное...»

Миша кивнул. Хотя отношения между Машиными родителями представлялись ему несколько иначе: нормальными, как у многих, но уж без особой такой любви. Хотя, конечно, привыкли друг к другу: почти тридцать лет вместе живут.

Его собственные родители тоже жили, на его взгляд, нормально. Ссорились, конечно, но не на глазах у детей. А любили? Ну, наверно. Раз не разошлись...

Хотя... Общий дом, друзья, дети — не так-то просто такие узы рвать.

Миша и не замечал, что размышляет о чувствах своих родителей снисходительно: наверно, любят, впрочем, могли бы уже и отлюбить.

Пожилые, немножко оба оплывшие. Говорят друг с другом о болезнях, диетах, врачах. И, понятно, вся отрада у них в детях: дети приходят, приносят с собой молодость, радость. Целую неделю ждут, готовятся, когда дети их навестят.

«Все-таки это очень печально,— думал Миша,— старость. Вот родители... Оба потрудились, наработались — а теперь? Отец даже курить бросил: сердце. А мама все темные тона себе на платье подбирает и ходит, точно стесняясь старческой своей полноты, не хочет привлекать ничьих взглядов. Скучно, безрадостно. Неужели и с нами так будет?»

Миша глядел на свою юную жену, готовую кокетничать, как говорится, даже со стулом, и любовался ею. «Жаль только,— думал,— что, верно, счастливее, чем теперь, мы уже никогда не будем. А любовь наша тоже со временем уйдет?..»

И ему делалось страшно за их нынешнее счастье, за молодость и любовь, которые пройдут, и что тогда?

...В прошлое воскресенье они обедали у родителей Маши, а на этой неделе собирались к Мишиным. Но в пятницу вечером позвонил Мишин отец и сказал коротко, хрипло: «Мама заболела».

«Что-нибудь серьезное?» — спросил сын.

«Приезжай, если можешь»,— сказал отец и повесил трубку.

...Раньше в детстве он просыпался ночью, холодея от одной мысли: неужели когда-нибудь о н и умрут? «Мама»,— шептал беззвучно в темноте и плакал...

Потом постепенно эта мысль укрепилась в сознании и уже не причиняла такую боль: родители умирают раньше детей; так суждено; расставание неизбежно. Но это еще не скоро — когда-нибудь...

Когда-нибудь!.. Сын не смог дождаться трамвая, и расстояние от метро до дома родителей преодолел почти бегом. Запыхавшись, влетел в подъезд. Нажал звонок обитой дерматином двери.

Открыл отец, взглянул на сына и тут же отвел глаза. Сказал: «Раздевайся».

...Казалось, он уже видел это когда-то, пережил, предчувствовал, что так оно и будет. Пройдет по коридору, робко откроет дверь, войдет, зачем-то улыбаясь, приблизится к постели матери. Ужаснется, не узнавая ее лица,— так изменилась.

Господи, что говорить? Как скрыть свою растерянность? Свое бессилие — как оправдать?

Когда-нибудь... Но вот оно сейчас настало, а ты не готов, ты беспомощен, ты...

«Мама»,— произнес сын и присел на ее постели, повинуясь тому, что подсказывало сердце, взял руки матери в свои, точно хотел их согреть, коснулся губами.

Она улыбнулась. И от этой ее улыбки он почувствовал, как что-то вдруг поднялось в груди, перехватило горло и что он не сможет сейчас сдержаться, заплачет.

Но в этот момент в комнату вошел отец, и сын повернулся к нему всем корпусом, надеясь так скрыть от матери слезы, заполнившие уже глаза.

Встал. Отошел к окну. Отец занял его место в изножии кровати. Свет настольной лампы позволял сыну видеть лица родителей, самому оставаясь в темноте, как бы незримым наблюдателем. Ему это было необходимо — передохнуть, собраться с силами.

А они будто в самом деле о нем забыли, перестали ощущать его присутствие. Отец держал в своих руках руки матери, как только что делал сын. Мол-

чали. Но сын почему-то не смел прервать это их молчание, ни словом, ни действием не смел заявить о себе. Точно, и правда, только они двое были сейчас в комнате, и никто не имел права им двоим помешать.

Сын отвел глаза.

...Прикосновение, родной запах — укрыться, уткнуться,— и все понял, все сказал. И смысл в этом бо́льший, чем в словах, чем в поступках. Для любящих. И нет близости большей, чем эта, рожденная прикосновением, желанием пробиться сквозь преграду телесного вглубь, внутрь. И все другие связи людей могут быть забыты, разорваны: когда двое вместе, им не нужен никто. Двое — едины.

Сын отвел глаза...

И только с годами, когда все испытано, когда к мимолетным соблазнам становишься глух, вот тогда и приходит любовь, непонятная молодым, им неведомая, хотя, может быть, и печальная, поздняя любовь.

Если бы мы жили вечно!.. Но, кто знает, сумели бы мы тогда так любить, так страдать от разлук, расставаний? Сумели ли бы тогда понять, что в любви не может быть замены, и только один кто-то был тебе предназначен, и только вы двое могли вместе прожить эту жизнь: ты все ему отдал, и больше у тебя уже ничего не осталось...

Сын отвел глаза, но внезапный шум заставил его вздрогнуть.

Отец стоял на коленях перед постелью матери, уткнув в ее ладони лицо.

«Ты вся моя жизнь»,— услышал сын приглушенный и даже, ему вдруг показалось, незнакомый отцовский голос.

«Ты вся моя жизнь»...

...Сын шел, засунув руки в карманы пальто, не глядя ни на кого. Он не хотел никого сейчас видеть, не хотел, чтобы кто-либо видел его лицо.

Ты вся моя жизнь.

На него свалилась глыба неожиданного — чужая судьба, любовь...

«Ты вся моя жизнь»,— зачем-то повторял он. Ты вся моя жизнь.



19. Детский мир

Он шел, не торопясь, оглядываясь по сторонам, как на прогулке. Но час был такой, когда на улицах все бурлит: люди, закончив рабочий день, спешат домой, в магазины; троллейбусы, автобусы полны; и даже если хочешь идти помедленнее, тебя понесет в общем потоке, утянет в водоворот.

Его толкали, но он будто и не чувствовал. Увидел телефон-автомат, нашарил в кармане мелочь, набрал комбинацию цифр — послушал и повесил трубку.

Время близилось к семи.

Он огляделся. Впереди возвышалось массивное, из светлого камня здание, в нише которого стояла наряженная елка, а сверху, с боков, по борту бежали, вспыхивали неоном разноцветные буквы: «Детский мир», «Детский мир», «Детский мир»... Широкие стеклянные двери то и дело распахивались, впуская и выпуская людей пачками. У всех были озабоченные лица, а в руках плюшевые медведи, красные лошадки на колесах, коробки, свертки, воздушные шары...

Он зашел. Постоял у прилавка с заводными игрушками. Все продавщицы были как бы снегурками, в кокошниках и приталенных жакетках, опушенных

белым искусственным мехом; но с покупателями они держались так же неприступно, как и, скажем, в магазинах «Овощи — фрукты», хотя все были молоденькие, хорошенькие.

Он купил заводного зайца, зажавшего в лапах морковку и шевелящего усами, когда в спину его вставляли ключ. Продавщица завернула зайца в бумагу с красно-синими буквали «Детский мир», залепила клейкой лентой и вручила сверток не глядя. Получив покупку, он отпрянул от прилавка, потому что сзади напирала толпа.

Стеклянные двери магазина подались и захлопнулись за ним, а он теперь уже быстрым, деловым шагом свернул за угол, пересек улицу, вжался в подошедший как раз троллейбус и погрузился в плотную жаркую массу людских тел.

...Дом три дробь восемь, этаж шестой, квартира сорок девять...

Его, конечно, не ждали. Женщиниа, открывшая обитую коричневой клеенкой дверь, стояла на пороге, преграждая ему путь. На ней был длинный стеганый сиреневый халат, а на ногах пушистые домашние туфли. Она была высокая, с большими темными глазами и родинкой над верхней губой. Смотрела на него мрачно и молчала. Он тоже молчал.

— Ну все? — наконец вымолвила она и собралась уже закрыть дверь, тогда он поспешно протянул сверток с красно-сииими буквами — она взяла, и дверь захлопнулась.

Он постоял, подождал, сам зная, что напрасно. Потом, скользя рукой по перилам, сбежал по лестнице вниз.

У стены, рядом с лифтом, где прибиты почтовые ящики, он приостановился. Засунул палец в дырчатое отверстие одного из ящиков, на голубой поверхности которого были выведены белой масляной краской цифры — 49, и тут же отдернул руку: ему показалось, кто-то идет. Но никого не было, и он, подняв воротник пальто, вышел из подъезда, сел в троллейбус и поехал в сторону «Детского мира».

Красивая продавщица, одетая как бы снегуркой, взяла у него чек и в бумагу с красно-синими буквами завернула заводной паровозик, почти как настоящий.

Он выхватил через чьи-то головы покупку, выбежал из магазина и через полчаса снова позвонил в обитую коричневой клеенкой дверь под номером сорок девять.

Дверь приоткрылась, придерживаемая цепочкой, он быстро сунул сверток в эту щель — рассчитал точно, потому что дверь почти в ту же секунду захлопнулась.

...Было половина девятого, он жал кнопку звонка, но ему не открывали. Звонок был негромкий, мелодичный — он сам его доставал,— и если она ушла на кухню, то могла и не слышать.

Но она слышала. Потому что стояла по другую сторону двери, перехватив у горла отвороты сиреневого халата, глядя в пол.

Но вот звонок смолк, и тогда она будто очнулась, наклонилась к замочной скважине, потом очень осторожно оттянула задвижку и...

И тут он навалился на дверь плечом, ворвался в квартиру, грубо оттолкнув ее, в пальто, в шапке влетел в комнату.

И не увидел никого...

Это была комната их сына. Светлая, уютная, с веселыми занавесками на окнах, веселыми обоями — на полках стояли книжки, игрушки. Он сразу узнал своего зайца, но рядом увидел еще одного, точно такого же. Пониже стояли два паровозика, один и другой.

И два барабана, два медведя, два ослика — все игрушки тут были паоными.

Он обернулся. Женщина в сиреневом длинном халате стояла, прислонившись к дверному косяку.

— Ты это нарочно? — спросил он, глядя мимо ее лица.

— А ты?..

Он сел в кресло-качалку.

— Я не знал.

— Я тоже не знала...

— Почему же ты...—Он качнулся, и ее лицо тоже как бы качнулось, приблизилось к его лицу, а потом отпрянуло назад, и он отпрянул.— Это жестоко, так поступать.

— Жестоко...— она отозвалась.

— Ты искалечишь мальчишку.

— Ты...

Он сжимал перила качалки, отталкиваясь ногами, и почти запрокидывался навзничь — все быстрее, быстрее...

— Неужели так трудно сохранять пристойные отношения? Ведь умеют же люди... А тебе все только крушить!

— ...крушить...

— Такая злоба — поразительно!.. Уму непостижимо! Подумай, ему четыре года — неужели нельзя по-человечески?!

— ...вечески...

— Это в конце концов просто подло!

— ...одло...

Ее лицо мелькало перед ним все быстрее, быстрее, точно он гнался за ней, а она убегала.

— Ну,— он уперся ногами в пол,— хватит!

Ее лицо дернулось и застыло. У нее были большие темные глаза, а над верхней губой родинка. Волосы, гладко зачесанные назад, открывали виски и лоб, выпуклый, высокий. Он внезапно подумал, что, если бы встретил такую женщину случайно на улице, она бы ему понравилась, он бы даже мог, наверно, в такую влюбиться... Если бы не знал, если бы...

Сейчас он ее ненавидел.

— Ты не имеешь права запретить мне видеться с сыном. Я не алкоголик, не бандит, чтобы...

— Ты хуже.

Он взглянул иа нее с любопытством.

— Ты так считаешь? Почему?

— Потому что... Да что говорить! Я не хочу тебя видеть!

— Знаю. Я хуже всех на свете, потому что раньше ты меня любила, а теперь нет. Потому что раньше мы жили с тобой здесь вместе, и ты...

— Замолчи!

— И ты любила, любила меня. И...

— Тихо! — Она прислушалась.

— Он?..

Они одновременно бросились в прихожую, одновременно схватились за дверь.

Пожилая полная женщина держала за руку мальчика в заячьей шапке.

— Ну вот мы и нагулялись,— сказала она, улыбаясь приветливо — Видите, какие у нас красные щечки... Ну, отдаю из рук в руки, в полной сохранности. До свидания.

Мальчик ждал, когда его разденут, вертя в руках пластмассовую оранжевую лопатку. Мужчина стоял рядом молча: «Она купила или я?..»

Мальчик переложил лопатку в другую руку...

Он видел, как снежинки на его валенках и шубке таяли, превращались в капельки воды. От шубы пахло по-щенячьи — он поднес к носу рукав и лизнул. Ресницы тоже были мокрые и слиплись — если прижмуриться, появлялись радужные пятна, вспыхивали, гасли, перемещались, как стекляшки в калейдоскопе, две картонные калейдоскопные трубки лежали в комнате у него на столе... Красное яркое пятно

перерезал светло-голубой луч, и рядом вспыхнул зеленый... Мальчик закрыл на мгновение глаза, ему показалось, вдруг все поплыло. Он крепче сжал лопатку за черенок, поднял руки — через голову с него стянули свитер. Мальчик тряхнул головой.

— А, ты, пап...— заметил он наконец стоящего рядом мужчину.— Ты сегодня к нам как, надолго?

И не слыша, не слушая ответа, мальчик прошел в глубь коридора, ступая неслышно в своих вязаных толстых носках, приставив к правому глазу ладошку, чтобы лиловое, искрящееся, серебристое пятно не исчезло, не расплылось — это было так красиво...

20. Как всегда

К нам пришли гости, давние наши друзья. И, как всегда, мы уселись на кухне. Как всегда, было тесно. Как всегда, не хватало тарелок, вилок — но обошлись, как всегда.

Как всегда, все очень быстро съели и быстро выпили. Как всегда, захотели потанцевать и топтались, толкая друг друга — мало места,— но всем было весело.

И вдруг я увидела нас как бы со стороны. В джинсах и свитерах, лохматые и коротко стриженные, скинув обувь, чтобы свободней было плясать,— мы казались себе молодыми. И музыка, записанная на магнитофонной ленте, музыка семидесятых годов, возбуждала в нас веселье и утверждала как бы нашу молодость — мы казались себе такими молодыми сейчас.

И вдруг я подумала... Наши песни, наши танцы, наша мода, наша молодость — да ведь это уже сейчас убывает, истаивает, стирается во времени!

Мы еще танцуем, и мы уже стареем: стареют наша одежда, наши вкусы, мелодии, сочиненные в семидесятых,— через десять — пятнадцать лет наши дети найдут эти пластинки, эти магнитофонные записи, и они покажутся им такими же старомодными, чудными, наивными, как нам кажутся теперь чарльстоны и бостоны, звучавшие в дни молодости наших родителей.

Нет, разумеется, новизны в этих мыслях, но когда они возникают уже применительно к себе, к собственной жизни, собственной молодости — это воспринимается открытием. И грустным.

Теперь, когда я встречаю в кино ли, в книгах ли, в фотографиях молодость других поколений — эти цветастые полудлинные платья, чудные шляпки, прически с буклями, приподнятые плечи у пальто, эти смеющиеся счастливые — такие молодые! — лица, я чувствую с ними родство: они были молоды, как и я, их молодость прошла, как и моя пройдет когда-нибудь.

Да, мы еще танцуем. Но наши дети уже растут. И я вспомнила, как однажды мои родители оказались на одном празднестве вместе с моими молодыми друзьями и как они смотрели на нас, танцующих, веселящихся, молодых. В их лицах были одновременно и недоумение, и интерес, и то желание понять, которое, собственно, и связывает поколение и поколение, делает неразрывной цель, нашу любовь к ним, их любовь к нам.

И я подумала: пусть... Пусть мы стареем. Но когда-нибудь, через десять — пятнадцать — двадцать лет, мы придем к своим детям на праздник и увидим тогдашних молодых, и постараемся понять их вкусы, их моды, их взгляды.

Мы будем смотреть на них глазами своих родителей — все, что наши мамы и папы чувствовали, глядя на нас, возродится, откликнется через десять — двадцать лет и в нас, их детях. А нашей молодостью завладеют наши дети, и в общем они будут очень похожи на нас. Мы должны непременно разглядеть это сходство и непременно понять то, что будет их от нас отличать.

А пока мы танцуем. И нам, как всегда, весело. Мы еще молоды... Как всегда.

21. Когда я умру

Она плачет, а я, жестокосердная, закрывая плотно дверь, чтобы не избаловать, не приучать к рукам, следую наставлениям мудрых и опытных.

Но выдержать больше пяти минут ее горестные всхлипы не могу. Врываюсь, прижимаю к груди, и она, вся зареванная, улыбается мне доверчиво, благодарно. Господи, как мало ей пока нужно! Быть сытой, сухой и чтобы я, мама, была рядом. Она вся целиком в моей власти, в полнейшей от меня зависимости. И не скоро еще догадается, какая ей дана надо мной власть: как именно она этим воспользуется?

А пока... Мы с ней вдвоем. Одни в пустом доме. И мир полон: моя дочка улыбается мне...

Когда-то, а в общем-то не так давно, я, оставшись одна, включала проигрыватель, телевизор, зажигала повсюду свет: мне было как-то не по себе. Страшновато... Может, это осталось от детства — боязнь ночи, темноты. А может, этот страх зарождается в нас еще раньше: тьма, откуда мы в эту жизнь приходим и куда неизбежно уйдем...

«Утро вечера мудренее» — не только потому, наверно, что за ночь мы отдохнем, встанем со свежими силами, но и потому, что свет дневной рассеет темноту, угнетающую, подавляющую нас, о наступлении которой мы помним даже при ярком электрическом освещении.

И я всегда побаивалась темноты. А может, темнота соединялась в моем сознании с одиночеством, чье прикосновение каждый хоть раз да ощутил.

Я включала проигрыватель, телевизор, зажигала повсюду свет, но напряжение во мне не исчезало, и я мечтала: скорей бы день...

Ну, а теперь я бесстрашно гляжу в заполненные изнутри чернотой окна, и тишина квартиры не угнетает меня: в кроватке лежит моя дочка и, когда я подхожу, она мне улыбается.

Она, такой беспомощный комочек, придает мне неведанные раньше силы, неведанную уверенность. Это трудно даже словами объяснить. Возможно, когда она вырастет, отделится от меня и заживет самостоятельно, то, что я сейчас ощущаю, уменьшится, ослабнет, но совсем это не должно пропасть.

...У меня есть приятель, насмешливый, осторожный человек. Признание в чем-либо сокровенном от него редко можно услышать. И вот у него родился сын. Он пришел ко мне, и мы пили с ним белое вино на кухне.

— Ну и что же ты сейчас чувствуешь, папа? — спросила я, перенимая его всегдашний нарочито несерьезный тон.

Он посмотрел на меня долго, странно:

— Что чувствую?.. Теперь, когда я думаю о смерти, я не боюсь... То есть боюсь не так... То есть мне кажется, что когда я умру...

И я его поняла. Мы сидели с ним в тишине, молча, договаривая каждый про себя то, чего вслух не скажешь...



22. Мой долг

Я прошу об одном. Прошу, чтоб дана была мне возможность хоть в половину, хоть в четверть вернуть свой долг. Заплатить за добро добром, за любовь любовью — и не словесной, а доказанной реально, действенно, каждый день, каждый час.

Прошу, чтоб когда-нибудь, когда станет старенькой моя мама, она бы увидела, как она мне нужна, именно в старости своей, именно в немощи, именно в той своей поре, когда я смогу возвратить ей задолженное.

Я скажу своим детям: «Знайте, мама моя — самый мудрый, самый главный для меня человек». И пока я в силе, пока во власти, у мамы моей есть защита... Есть у нее опора, пока я есть на земле.

Я прошу об одном — о справедливости. Чтобы та, кто отдала нам, детям, всю себя, была окружена заботой, теплом, благодарностью, какие она всей жизнью своей заслужила.

Я бы посадила ее во главе стола. Я бы ей первой подавала тарелку супа и первой наливала чашку чая, я бы завела в своем доме ее культ и недовольных бы изгоняла.

Я бы укрыла узкие зябкие ее плечи легким большим пуховым платком, чтобы сделалось ей тепло и уютно, чтобы поняла она, наконец, недоверчивая, что важнее ее для меня никого нет.

Что и муж и дочь не только не поглотили всей моей любви, а скорее лишь углубили любовь к ней, к моей маме.

Оттого я назвала дочь в ее честь. Я хочу, чтобы лицом, повадкой, характером она повторила тебя, мама.

Неужели так трудно природе услышать мою просьбу, мое в конце концов требование: разрешить мне вернуть свой долг. Если уж это не может сделать человек, что тогда говорить о справедливости!

Пусть мне только позволят... Что касается дальнейшего, то я знаю, что могут встретиться и трудности на пути. Что иной раз собственные дети, собственный муж оказываются помехой для ответной благодарной дочерней любви: я видела, увы, такие примеры. Так вот, я клянусь, что буду беспощадна ко всем, кто посмеет меня удержать, посмеет сказать: жизнь движется вперед, только вперед, и то, что ты задолжала матери, получат твои дети.

Нет, я не приму такой жизненный закон, такую узаконенную неблагодарность...

Хотя, согласна, та мера материнской любви, какую познала я, получают отнюдь не все. И наверно, это они, обобранные еще в самом детстве, и могут иной раз «благоразумно» заявить: «Какой еще может быть у нас перед родителями долг? Жизнь распорядилась иначе...»

Но это их дело, их совесть. И, в общем, не мне их судить. У меня другая забота.

Я прошу об одном и сделаю все, что в моих силах.

А пока — пусть это самая лишь малость — я назвала родившуюся дочь в твою честь твоим именем, мама.



Сигизмунд
КАЦ

ПАМЯТЬ И МУЗЫКА

ВСТРЕЧИ С МАЯКОВСКИМ

Москва, 1927 год. Я учился в музыкальном техникуме и совмещал учение с работой в одной из групп московской «Синей блузы». Частым гостем нашего «штаба» — редакции был В. Маяковский.

Он любил талантливую артистическую «синеблузию» («бодрых задир» — так называл их поэт), охотно читал нам свои новые произведения, а иногда специально писал для «Синей блузы» прологи, частушки и даже плакаты.

Однажды наш главный редактор — душа и организатор «Блузы» Б. Южанин — попросил В. Маяковского подтвердить стихами, что синеблузники не любят курящих. Мы и в самом деле не курили (это категорически воспрещалось), а плакат нужен был для посетителей, которые неохотно подчинялись нашим законам.

Помню, как Вэ-Вэ (так мы между собой называли В. Маяковского) в ответ попросил кусок картона и сразу же написал:

Не хотим вдыхать никотин!

Маяковский сам в редакции не курил, держал во рту погасшую папиросу, а во время разговора как-то ловко перекатывал ее то влево, то вправо.

К 9-летию Октября поэт написал пьесу «Радио-Октябрь». (Она сейчас напечатана в собрании его сочинений.) Он часто приходил на репетиции и во многом помогал режиссеру-постановщику Б. Шахету.

Как-то во время одного из его посещений я сказал:

— Владимир Владимирович, что мне делать? Не хотят ребята учить куплеты и слушать музыку, часто сбиваются и поют «поперек» ритма. Помогите мне, пожалуйста!

— А я-то при чем? — мягко пробасил Маяковский.— Я же не музыкант...

— Но ваш авторитет...— начал было я.

— Понятно,— перебил меня поэт,—не договаривайте, все понятно...

В перерыве между репетициями Маяковский собрал артистов и, сев верхом на стул лицом к спинке, начал интереснейший разговор о роли музыки в современном театральном представлении. Он рассказывал о первой постановке «Мистерии-буфф», о музыке революционного Петрограда, о своей работе с Мейерхольдом, о рабочих песнях, слышанных им во время заграничных поездок. В заключение он так хорошо спел старинную грузинскую песню («Ее пели, когда я учился в гимназии в Кутаиси»,— заметил он), что ему все горячо зааплодировали.

Синеблузники — внимание музыке! —

так закончил свою импровизированную беседу Маяковский. Этот лозунг, прикрепленный потом к стене репетиционной комнаты возле рояля, долгое время напоминал нам о встречах с любимым поэтом.

Вскоре я написал музыку к «Левому маршу» в жанре модной тогда ритмодекламации, сыграл товарищам и, воодушевленный их дружеским одобрением, решил сообщить об этом поэту. Я позвонил ему по телефону, рассказал, в чем дело, и начал с трепетом ждать, что он скажет по этому поводу.

— Мой «Левый марш» не нуждается в музыкальном сопровождении,— заявил Маяковский.— Он и без музыки хорошо организован, ритм его и так понятен слушателю, а смысл музыка может даже исказить.— А вот послушайте, молодой





Ноты «Левого марша».
Наверху надпись: «Автору текста В. В. Маяковскому — от автора музыки. С. Кац. 12. XII. 29 г.»

человек, стихи, на которые музыка, по-моему, хорошо ложится...— И Владимир Владимирович по телефону напел мне: «Возле самой Фудзиямы жил японец и японка — очень тонко, очень тонко...» (это была неизвестная еще мне, потом ставшая очень модной песенка М. Блантера).

— Впрочем,— добавил поэт,— может быть, я не прав! Приходите завтра вечером в клуб комсомола Красной Пресни на Васильевской улице. Ага, знаете, где это, бывали там, хорошо! Я буду читать стихи, а вы потом мне сыграете свой марш. Да, в восемь часов. Если будет трудно пробиться, я вас проведу.

Действительно, пробиться на вечер Маяковского было нелегко. Но мне по молодости лет это удалось и без помощи поэта. Я кое-как уселся в переполненном зале и (в который раз!) сразу окунулся во взбудораженную атмосферу вечера, где царили стихи Маяковского, и прежде всего — сам Маяковский!

О его мастерском чтении, о его остроумных и неожиданных ответах на записки столько уже написано, что я не буду повторять того, что всем известно. Почитайте Л. Кассиля «Маяковский — сам», главу «На капитанском мостике», и вы сразу себе представите, каким был Маяковский на эстраде!

Вдруг со сцены громко звучит: «Я собирался вам прочесть «Левый марш». Сюда хотел прийти молодой музыкант-синеблузник. Если он есть, пусть подымется и сыграет нам свой марш на эти стихи! Где вы, юноша?»

Я, немного робея, поднялся с места и пошел к эстраде. Подмостки были высокие, никакой лесенки не было — Маяковский подал мне широкую ладонь, и я... буквально взлетел на сцену. Чьи-то заботливые руки выкатили из-за кулис рояль, и началось нечто невообразимое. Владимир Владимирович, послушав мое барабанное вступление, тотчас же вступил:

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.

Он интуитивно чувствовал музыку, мы «шли вместе» как хорошо сыгранные артисты, хотя моей музыки он до сих пор не слышал. Но потом разошлись: либо я от волнения ускорил темп, или автор в этом месте читал стихи медленнее — словом, после

Там
за горами гóря
солнечный край непочатый...

Маяковский остановился, сделал небольшую паузу и сказал, громко обращаясь ко мне:

— Молодой человек, остановитесь! Я дочитаю «Левый марш» сам, а потом вы все остальное дочитаете! — Бурные аплодисменты в адрес поэта раздались по окончании марша.

Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Меня на эстраде уже не было.

...Через несколько дней Маяковский и я встретились на Неглинной в Музсекторе Госиздата (ныне издательство «Музыка») и уже более складно показали «Левый марш» авторитетной комиссии, куда входили выдающиеся музыканты А. Гедике, Н. Жиляев, Н. Мясковский. Сочинение было принято к печати, и вскоре вышла в свет моя первая изданная работа! Я подарил ноты Маяковскому, они до сих пор хранятся в его музее-квартире.

В ответ поэт преподнес мне маленькую книжку стихов в тогдашнем издании «Библиотеки «Огонька» (где он изображен на обложке в кепке, в куртке с меховым воротником) с трогательной дружеской надписью.

К сожалению, как и многие другие книги и ноты, она пропала в годы войны.

В последний раз я встретил Маяковского на его выставке «20 лет работы», открытой 1 февраля 1930 года в клубе писателей. Он был хмур, озабочен и, как видно, чем-то недоволен. Увидев меня с товарищами из «Синей блузы», он неожиданно улыбнулся и показал палкой на один из стендов, где в качестве экспоната были выставлены ноты «Левого марша».

ВСТРЕЧИ С МУСОЙ ДЖАЛИЛЕМ

Однажды мы направились с Мусой Джалилем в нотный магазин на Неглинной купить только что вышедший из печати сборник «Песни татар Поволжья», написанный мной на татарские темы. С Мусой меня познакомила Ася Измайлова, певица из Казани, учившаяся в консерватории и уже давно певшая мои обработки татарских песен. Джалиль тогда, по-моему, был студентом Московского университета. Веселый человек, плотный, невысокого роста,

Муса стал моим закадычным другом. Мы с ним часто встречались у меня дома и в классах консерватории, благо университет был рядом. Он очень любил музыку, хотя разбирался в ней не очень-то профессионально. Стихов он знал множество и с охотой читал мне наизусть целые страницы из Блока, Есенина и Маяковского. Мне очень нравились его татарские «сикирлéр» — стихи, которые он читал гортанным голосом, хотя по-русски говорил абсолютно без всякого акцента. Муса очень любил петь свои родные татарские песни, и я ему с удовольствием аккомпанировал. До сих пор у меня в ушах звучит тоненький голос Джалиля: «...Сандугач, Кугерчин, Хасретчигеи куремсын...», который монотонно выводил пентатонные узоры любимой мелодии о «Соловьях-голубях». Я ему в ответ играл баллады Шопена и сонаты Бетховена, за что Муса был мне очень благодарен. Мы были тогда по-студенчески бедны, но Джалиль ухитрялся после очередного музицирования иногда сводить меня в диетическую столовую на улицу Огарева, где у него был знакомый татарин-повар. Там мы наедались почти бесплатно до отвала. Потом шли, сытые, гулять по улице Горького, а Муса продолжал читать свои стихи по-татарски или в переводах русских поэтов...

Мой консерваторский товарищ, композитор Назиб Жиганов, автор многих сценических произведений, в том числе и оперы «Джалиль», созданной после войны, много лет спустя говорил мне: «Я думал, что одним из первых заложил фундамент современной татарской музыки. Оказывается, ты гораздо раньше меня начал этим делом заниматься, мы тебя поэтому приветствуем словом «основоположник»! А я на это отвечал: «Что ты, Назиб. Просто так сложились обстоятельства, что мне довелось познакомиться с татарскими поэтами и артистами гораздо раньше, чем тебе»...

В самом деле, какой из меня «основоположник»!..

Иногда к нам с Джалилем присоединялся еще один поэт Иван Кырла, по национальности мариец. Мне о нем очень часто рассказывал Муса Джалиль, говоря, что на днях приведет его, талантливого стихотворца, к нам на Сретенку.

В тот день я, как обычно, занимался на рояле, когда раздался звонок. Отец пошел открыть входную дверь. Вначале я услышал голос Мусы, потом изумленный голос отца, а вскоре шум всей «Вороньей слободки», нашей коммунальной квартиры, которая почти точно описана у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке». Я вышел в коридор. Муса и его спутник прорывались ко мне, но их не пускали соседи. «Это Мустафа! Неужели это живой Мустафа?!» — вопил коридор, набитый десятками обитателей квартиры. Наконец гости вошли в нашу комнату, дверь закрылась, и все стало понятно: Иван Кырла, марийский поэт, маленький, косоглазый, невысокий, приземистый человек снялся в фильме «Путевка в жизнь» в главной роли и стал в Москве очень популярным человеком. Тем более что «Великий Немой» только что приобрел голос, и этот фильм стал нашей первой звуковой кинокартиной.

Ваня Кырла читал свои стихи по-марийски и тут же читал переводы их на русский язык. Стихи были очень хорошие, и мы их слушали с большим удовольствием.

Но от совместных прогулок с Мусой Джалилем и Иваном Кырла я впоследствии отказался наотрез. Стоило только выйти на улицу, как нас окружала толпа любопытных и шумно скандировала: «Гляньте, граждане, гляньте! Это же Мустафа, сам Мустафа!..»

Потом Кырла уехал из Москвы, перестал сниматься в кино и куда-то надолго сгинул.

Затем уехал в Казань (по окончании Московского университета) Муса, и мы на долгое время потеряли друг друга.

В 1941 году он мне как-то позвонил по телефону, сказал, что в Москве проездом, собирается зайти ко мне, но почему-то так и не зашел.

О том, что он герой и погиб героически, я узнал не сразу...

Сейчас я живу на улице Огарева. Каждый раз, когда я выхожу из ворот дома, гляжу на высящееся рядом с Центральным телеграфом административное здание и вспоминаю, как мы, студенты, забегали в один из маленьких домиков, стоявших раньше на этом месте. Здесь когда-то находилась диетическая столовая, и толстый повар Загид Валеевич кормил меня и Мусу почти бесплатными обедами...

Милые, незабываемые времена!..

«СИРЕНЬ ЦВЕТЕТ»

Эта песня написана летом 1944 года в Севастополе. Город был недавно освобожден от фашистских войск. С чувством горечи и грусти бродили мы среди развалин домов, по угрюмым каменным закоулкам, которые раньше были просторными, тенистыми улицами. Город лежал в руинах — все дома были разбиты вдребезги. Поэтесса Ольга Берггольц, литературовед Георгий Макогоненко, драматург Виктор Типот и я — литературно-музыкальная бригада (как нас почтительно называли моряки) — порой даже боялись громко разговаривать. Нам казалось, что тихий шепот лучше выражает наши сокровенные мысли. О. Берггольц говорила, что тени погибших моряков как бы окружают ее и она боится шумным словом нарушить их вечный покой.

Мы много выступали, рассказывали о музыкальной и литературной жизни Москвы и Ленинграда, читали стихи и пели песни. Во время одной из встреч группа молодых краснофлотцев предложила нам на следующее утро «прокатиться на тральщике». Я решил, что это будет нечто вроде увеселительной прогулки по морю, но это оказалось совсем другим.

Виктор Типот и я только на борту катера поняли, какой опасности подвергается боевой экипаж, ежедневно выходящий на разминирование черноморской бухты. Сердце не раз замирало от страха, когда шлюпка подходила к этакой «рогульке» и матросы обезвреживали ее и, отплывая подальше, взрывали.

— Ну что, познакомились с нашей работкой? — спросил командир отряда, когда мы к концу дня сошли на берег.— Какова?

— Хороша, но, кажется, немного вредная для здоровья и опасная для жизни,— ответил я, с радостью ощущая под ногами твердую землю.

— Ну, а теперь покажите вашу работу, не опасную,— попросил капитан второго ранга.

В кубрике после ужина состоялся импровизированный концерт. В. Типот читал стихи, смешные скетчи, а я играл и пел в меру своих вокальных возможностей. Потом посыпались вопросы и заявки. «Саратовские страдания»,—заказал один из моряков. «Про конец войны что-нибудь»,— подхватил следующий. «Когда мы вернемся домой»,— почти вопросительно произнес третий. Моряки обступили нас, столпились у дряхлого, расстроенного пианино. Для этих молодых жизнерадостных ребят, которые каждый день рисковали жизнью, хотелось сделать как можно

больше. «Сколько их не вернется на сушу»,— с грустью думалось мне.

На следующий день, разбирая груду книг, валяющуюся на скошенном подоконнике комнатки в полуразрушенном доме, где мы жили в Севастополе, я нашел литературный альманах «Год восемнадцатый» издания 1935 года и обнаружил там два стихотворения А. Суркова: «Из колодца вода льется» и «Поволжанка». Во втором стихотворении были очень хорошие строчки:

Над Волгой-рекой
Расплескала гармонь
Саратовское «страданье».

«Вот хорошо бы написать музыку на эти стихи и подарить песню вчерашнему моряку, который, судя по характерному «оканью», был волгарем»,— подумал я. Но в «Поволжанке» Суркова не было ничего про войну: стихи ведь были предвоенные. И тогда, уже приступив к сочинению музыки, я добавил от себя к строкам поэта:

«Сирень цветет,
Не плачь, придет»,

нечто невразумительное по размеру:

«...Война пройдет,
Твой милый, подружка, вернется!»

Ладно, решил я, приеду в Москву, покажу песню А. Суркову; сначала он, конечно, меня поругает, а потом исправит, или, как у нас говорят, «подтекстует по музыке». Но этому не суждено было случиться.

Через два дня наспех набросанный карандашный клавир уже разучивался одним из краснофлотских ансамблей, и новая песня «Сирень цветет» начала звучать, словно отвечая на вопрос: когда мы вернемся домой? Авторы ее оказались невольными «пророками» — война действительно закончилась в мае. В мае 1945 года, когда так пышно и буйно цвела сирень...

Вскоре после моего возвращения в Москву это произведение включил в репертуар Б. Александров, руководивший тогда ансамблем песни Всесоюзного радио. Благодаря его мастерской хоровой обработке и чудесному исполнению сольной партии В. Бунчиковым песня, рожденная у черноморских берегов, уверенно двинулась в большое многолетнее плавание с прибавкой моих «доморощенных» стихов.

Пытался ли А. Сурков исправить эти строчки? — спросите вы. Да, вначале пытался, а потом решил оставить все как есть.

Сердился ли поэт?

Нет, не очень!..

...1969 год. Когда в Концертном зале имени Чайковского, где происходило чествование поэта в связи с его семидесятилетием, торжественно объявили, что А. Суркову присвоено звание Героя Социалистического Труда, все встали, и бурные аплодисменты потрясли этот видавший виды и уже привыкший к овациям зал.

Алексей Сурков стоял на сцене, окруженный друзьями, стоял, волнуясь, пережидая, когда стихнут аплодисменты, а я смотрел на его поседевшую голову, и вспоминались его давние, военные стихи:

В громе яростных битв пролетают над нами
Беспокойные, грозные, трудные дни.
Встань, поэт, перед строем, под красное знамя,
И в глаза современникам прямо взгляни.

Поэт написал не много песен за свою долгую творческую жизнь. Художественная ценность, глубина содержания сделали их всенародно любимыми. Я вспоминаю его «Землянку» (музыка К. Листова). Солдаты после очередного боя жадно списывали друг у друга слова песни и посылали их в своих треугольниках домой женам.

А как поднималось настроение уставших бойцов, когда запевала на высокой ноте начинал:

С бандой фашистов сразиться
Смелых отчизна зовет.

И звонко подхватывали:

Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет.

(Музыка В. Белого)

Как важно, чтобы поэт и композитор хорошо понимали друг друга: в таких взаимочувствованиях всегда рождается душевная, хорошая песня. А такую песню всегда полюбит народ. Наши слушатели очень дальновидны, а порою даже в музыке и в стихах разбираются на уровне самих авторов.

Как-то после войны мы встретились с бывшим морским офицером. Вспоминали Севастополь, 1944 год, мои выступления в освобожденном городе и песню «Сирень цветет» на стихи А. Суркова, которую я там впервые исполнил.

— Скажи мне,— допытывался любопытствующий моряк,— откуда твой поэт тогда знал, что война кончится в мае 1945 года?

— О чем ты? — изумленно спросил я.

— Когда мы, морская пехота, начали в апреле осаду Берлина, мои матросы говорят: «Вот в песне «Сирень цветет» поется:

...Сирень цветет,
Война пройдет,
Твой милый, подружка, вернется.—

Сирень начинает цвести в мае. Значит, в мае и закончим! Сурков все знал!..»

Мне осталось только недоуменно пожать плечами. Ответить было нечего. А разубеждать не хотелось...



Алексей
ПЬЯНОВ

ПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ



Т. САЛАХОВ. Портрет Фаиза Рабаха.

И все-таки время можно остановить. Пойманное в «ловушку» искусства, оно как бы прерывает неумолимый бег, навсегда оставляет нам свои наиболее характерные приметы, запечатленные кистью, резцом, пером и составляющие образную летопись наших деяний, поисков и свершений.

Впечатляющим фрагментом этой летописи представляется выставка «Советский портрет», демонстрировавшаяся в Манеже. Она собрала в единую экспозицию огромное количество произведений, представляющих один из самых популярных и самых сложных жанров изобразительного искусства. Более тысячи работ — живопись, графика, скульптура — около шестисот авторов.

Но успех экспозиции, большой и заслуженный, определила отнюдь не эта «арифметика», ибо в искусстве количество — показатель малопочтенный. Выставка привлекала к себе внимание прежде всего возможностью разом увидеть все то, что уже давно составляет славу и гордость советского изобразительного искусства, увидеть не разобщенно, не изолированно, а в органическом единстве, в контексте времени, в единении школ, направлений, стилей, в сочетании традиций и новаторства разных поколений художников всех братских республик.

Авторам экспозиции удалось создать яркую панораму современности. И в этом — главное достоинство выставки. Мы как бы заново увидели многое из того, что нам уже давно и хорошо известно.

В самом деле, кому не знакомы одухотворенные, мастерски выполненные, ставшие классическими работы И. Бродского, К. Петрова-Водкина, И. Грабаря, П. Корина, П. Кончаловского, Б. Кустодиева, М. Нестерова, А. Пластова? Эти мастера, продолжая и развивая лучшие традиции русской портретной школы, создали произведения, наполненные огромной духовной силой, дыханием современности. Мы и прежде восторгались ими, встречая в залах картинных галерей, на выставках, в репродукциях. Но здесь, в Манеже, в продуманном монтаже экспозиции, они открыли нам свои новые грани, зазвучали еще более высоко и символично, нисколько не теряя в своем реальном содержании.

Образ нашего времени неразрывно связан с образом бессмертного вождя революции Владимира Ильича Ленина. Впечатляюща Лениниана, представленная на выставке. Это и известная работа И. Бродского «В. И. Ленин в Смольном», и великолепные рисунки Н. Андреева (его графическая серия портретов революционеров — соратников Ленина — производит сильное впечатление), и скульптуры Я. Николадзе «В. И. Ленин (Период создания «Искры»)», В. Цигаля «В. И. Ленин — гимназист», и много других произведений.

К этому разделу примыкают портреты выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства — Крупской, Дзержинского, Калинина, Кирова, Ворошилова, Буденного, Фрунзе... Работы эти перемежаются холстами, на которых изображены простые люди Страны Советов, те, чьим трудом создавалось наше государство, вершилась революция, добывалась победа в борьбе с фашизмом,— успешно осуществлялись самые дерзновенные замыслы наших пятилеток. И один из главных принципов экспозиции: единство, связь времен и судеб.

Двадцатые годы. Суровые и романтические. Поэт Леонид Мартынов так сказал об этом времени:

Помню
Двадцатые годы —
Их телефонные ручки,

Их телеграфные коды,
Проволочные колючки.
. . . .
Помню я
Лестниц скрипучесть
И электричества тленье.
Помню я буйную участь
Нашего поколенья.

Таким и является нам оно на этой выставке — время первых лет революции: трудное и счастливое время первооткрывателей нового мира. И мы, люди семидесятых годов, вглядываемся в лица, которые не властна изменить ретушь времени. Мы похожи на них. Похожи главным — преданностью Родине, энтузиазмом, верностью. Похожи на эту «Девушку в красном платке» К. Петрова-Водкина, на крестьянку А. Архипова, на грузчика Степана Баринова, написанного Ф. Богородским в 1923 году, на этих, тогда совсем молодых, а потом всемирно известных ученых П. Л. Капицу и Н. Н. Семенова, запечатленных кистью Б. Кустодиева пятьдесят шесть лет назад. Какие разные лица! И как много общего у этих людей — достоинства, уверенности, духовной красоты.

Стройки первых пятилеток. Наши отцы и деды пришли на них с озорным, коротким, как удар сабли, словом «Даешь!». Их увлеченно пишут и старые мастера и художники, путь в искусство которым открыла революция.

Стремительный ритм времени живет в этих портретах, времени первых побед социализма.

Вот она — знаменитая «Девушка в футболке» А. Самохвалова. Чем знаменита? Да тем прежде всего, что стала символом юности тридцатых — окрыленной, боевой, работящей. Смотришь на этот холст и невольно вспоминаешь слова задорной песни тех лет: «Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране».

Образ этого времени складывается из десятков прекрасных работ, среди которых скульптуры В. Мухиной и С. Меркурова, М. Манизера и И. Шадра, живопись А. Куприна, Ю. Пименова, С. Чуйкова, А. Волкова, П. Кузнецова, графика Г. Верейского, Е. Кибрика... На портретах — ударники пятилеток: строители, шахтеры, доярки и пахари; первые герои труда, отважные летчики и моряки, деятели науки и искусства. Словом, мы, советский народ.

Николай Заболоцкий, обращаясь к своим собратьям по перу, писал: «Любите живопись, поэты! Лишь ей, единственной, дано души изменчивой приметы переносить на полотно». Поразительное это свойство живописи не ограничивается только душой, ему подвластно и время, приметы которого так ярко и достоверно запечатлены в лучших произведениях выставки, охватывающей все шестьдесят советских лет. Здесь нет тематических и хронологических разделов. Нам самим предоставлена возможность компоновать их из пестрой мозаики лиц — знакомых и незнакомых, знаменитых и безымянных, обнаруживая живую связь времен.

В летописи нашей страны много героических страниц, запечатлевших подвиги народа в боях за свободу и счастье Родины. И потому не случайно «человек с ружьем» — одни из главных героев выставки. Галерея портретов воинов обширна и многообразна. Мы встретимся здесь с участником штурма Перекопа, со знаменитым комиссаром Чапаевской дивизии Дмитрием Фурмановым, легендарным генералом Панфиловым и славным партизанским вожаком Вершигорой, с солдатами гражданской и Великой Отечественной, заслужившими вечную нашу любовь бессмертными подвигами в сражениях под Каховкой и на Сиваше, на Малой Земле под Новороссийском и у стен Сталинграда. Их долго будут писать и потом, после Победы — в парадных мундирах с орденами на груди и в полинялых гимнастерках. Будут писать и пишут до сих пор (многие портреты участников Великой Отечественной созданы в последние годы), потому что эта война никогда не станет для нас только историей...

Широко представлен на выставке послевоенный советский портрет. Преодолевая парадность, выспренность, пресловутую «лакировку» действительности, наше изобразительное искусство в те и последующие годы создало произведения большой художественной силы, правдиво отображающие жизнь страны, гигантский размах восстановительных работ. Оно обратилось к внутреннему миру человека и показало его во всей полноте. Шли плодотворные поиски новых форм выражения, новых решений. Процессы эти отразились и в творчестве признанных мастеров и в произведениях молодых художников, сформировавшихся в военные и первые послевоенные годы.

Главной темой нашего искусства стал труд, главным героем — человек труда. Вот характерные названия работ: «Портрет хлопкороба Назарали Ниязова» (А. Абдуллаев), «Портрет Героя Социалистического Труда Х. Давтяна» (Е. Асламазян), «Портрет Героя Социалистического Труда Серафимы Котовой» (В. Иванов), «Портрет Героя Социалистического Труда Язмурада Оразсахатова» (И. Клычев), «Портрет рыбака» (Э. Окас)...

Эстафета творчества непрерывна. Сегодня ее с достоинством несут те, кто наследовал традиции старших поколений. Современное изобразительное искусство уже трудно представить без произведений Т. Салахова, В. Гаврилова, Н. Пономарева, П. Оссовского, О. Комова, В. Попкова, О. Савостюка, Б. Успенского и десятков других, еще более молодых живописцев, скульпторов, графиков, чьи произведения были представлены на выставке «Советский портрет». Разные по стилю, манере, решениям, они сходны в одном — в искреннем стремлении создать произведения, достойные нашего времени, во всей полноте и достоверности показать нашего современника...

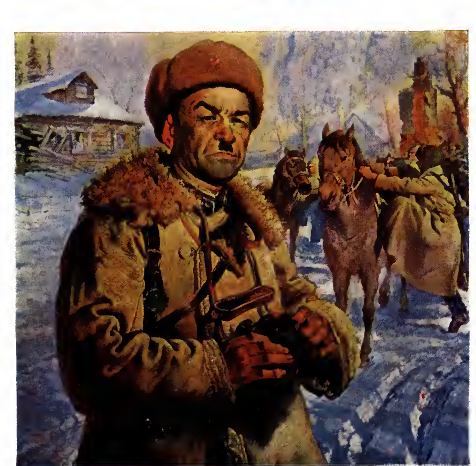
Девочка с яблоком в руке. Опаленное жаром лицо сталевара. Летчик-истребитель. Знаменитый пианист. Юрий Гагарин. Делегатка комсомольского съезда. Члены сельской партийной ячейки. Старый партизан. Писатель за рабочим столом. Метростроевка... Сотни лиц — радостных, грустных, задумчивых, веселых, суровых, озабоченных. Сотни портретов, сложившихся в один — портрет нашего времени. И он прекрасен, этот портрет.



В. ПЕРЕЛЬМАН.

Рабкор.

По залам Всесоюзной художественной выставки «Советский портрет». 1917—1977



В. ЯКОВЛЕВ.

Портрет гвардии генерал-майора И. В. Панфилова. 1942 (фрагмент).



К. МАКСИМОВ. **Электросварщик Загит Сабиров.**

Из серии «Люди КамАЗа».



А. МЕЛКОНЯН.
Семья.



И. КЛЫЧЕВ.
Ляля.



Б. КУСТОДИЕВ.

Портрет П. Л. Капицы и Н. Н. Семенова. 1921.



П. КОРИН.

Портрет С. Т. Коненкова.

шенно неуместной «переклички» двух произведений, напечатанных в одном номере «Нашего современника». Очень неплохой рассказ Бориса Екимова, удачно дебютировавшего в последние годы, «В этот его приезд...» начинается следующей сценкой:

«...Возле самого хутора, когда по правую сторону открылось поле, облитое желтым, прямо-таки солнечным цветом, Степан не выдержал и, засмеявшись, сказал:

— Здóрово!

— Чего здорово? — спросил шуряк.

— Да вот поле. Красиво...

— За такую красоту,— недобро усмехнулся шуряк,— управляющему голову надо оторвать. Сурепку растит. Сеют просо пополам с сурепкой. Давно надо бы семена сменить».

А теперь откроем первую страницу очерка Леонида Иванова «Дела урожайные»:

«— Мама... Мамочка! Посмотри, как красиво!

Впереди открывалось просторное, ослепительно желтеющее под солнцем поле.

— Да, великолепно! — отозвалась молодая женщина.— Какие красивые цветочки!

Девочка радостно захлопала в ладоши. Заулыбались пассажиры...

Лишь кряжистый, сутуловатый мужчина... жестко выговорил:

— Отдай вот таким хозяевам землю, всю желтухой покроют... В народе эти цветы зовут желтухой — сурепка, типичный сорняк... За такие красоты надо бы кое-кого ремнем драть».

В ряде произведений возникают довольно однотипные ситуации и конфликты, сопряженные со встречей «на лоне природы» людей разного, часто противоположного склада — то «естественного» человека с иным, уже «испорченным цивилизацией», то просто корыстолюбца с бессребреником.

Тут «не без греха» даже Виктор Астафьев, тоже отдавший обильную дань в одном из рассказов, составляющих «Царь-Рыбу», этой то ли воскресшей, то ли нововявленной традиции. В истории спасения Акимом москвички Эли есть некая искусственность там, где писатель решил самым исчерпывающим образом разоблачить себялюбца и дельца Гогу Герцева. После гибели Герцева в его вещах обнаруживается его дневник, к тому же откомментированный на полях женщиной, с которой покойный был близок до встречи с Элей. И вот теперь увлекшаяся было Гогой Эля слушает, как Аким читает вслух этот дневник по ее просьбе (сама она после болезни еще слишком слаба). Конечно, Герцев — человек плохой, однако метод, каким автор решил доказать героине и читателям, «в какое же дерьмо... вляпалась» она, тоже не очень приглядеп.

Натянуто и тенденциозно излагается далее история жизни самой героини в столице, совсем не вяжущаяся с тем наивным и милым обликом, в каком Эля предстает при первом знакомстве с Гогой. Как тут не вспомнить ироническое замечание, сделанное Твардовским насчет наивных суждений о Москве «как о некоем Вавилоне, полном всяческих соблазнов и суеты и как бы противостоящем праведной жизни»!

Вообще в подобных эпизодах, полемически нацеленных против некоторых, так сказать, лишь подернутых цивилизацией обитателей города, Виктору Астафьеву нередко изменяет чувство меры. Иные из волнующих его явлений вполне реальны, но в контексте всей его повести вряд ли заслуживали столь акцентированного внимания. Так, на фельетонность сбиваются страницы, где описываются охотничьи забавы иных современных сановников. А если к этому еще добавить, что эскизная у Астафьева фигура услужливого егеря подробно трактована в довольно претенциозном рассказе Михаила Горбунова «Белые птицы вдали», напечатанном в том же «Нашем современнике», и что мы снова встретимся там же, в рассказе Ивана Евсеенко «По щучьему велению», с разномастными начальниками на рыбалке, то возникает вопрос: а не много ли все-таки места отведено этой материи?

Создается впечатление, что порой обращение авторов к темам, которые журналу дороги, заставляет редакцию как бы сквозь пальцы смотреть на явные художественные слабости этих произведений и уж, во всяком случае, забывать, что повторение — не всегда мать учения, но подчас ближайшая родня скуке.

Так, в изрядном цикле стихов Владимира Балачана добрая половина — «Страда», «Тракторист», «Отпускники» — совершенно прозаична и вяла:

С пробуксовкой, с руганью, с поломками
Началась осенняя страда.
Шли комбайны гривами пологими.
И машины — следом. Как всегда.
Поначалу — солнечно и ветрено —
День и ночь косп и молоти.
А потом дела пошли помедленней:
Начались протяжные дожди...

Особенно же досадно, когда темы, требующие вдумчивого и тактичного подхода, образцы которого в журнале, как мы видели, есть, на соседних страницах задеваются «походя», как говорит распутинская Дарья, но зато с «форсом».

Умирает гармошка.
Все труднее дышать,—

драматически начинает стихотворение Константин Рябенький и, поздыхав о том, что с этой гармошкой связано,— о любовных прогулках и свиданиях, надрывно заключает:

Что же с русской душою,
Братцы, произошло?!

Это глобальное обобщение попросту несерьезно. Сергей Есенин однажды едко заметил: «Кто всерьез рыдал, а кто глаза слюнил». Что-то от последней манеры чудится и в интонации подобных стихов.

Было бы несправедливо сказать, что и на поле «Нашего современника» «сеют просо пополам с сурепкой». Хотя и не все, что «всходит» на этих страницах, может порадовать читателя. Главное заключается в том, что журнал горячо и заинтересованно ведет «прямой, честный, безбоязненный разговор о проблемах актуальных, значимых». И в этом его несомненная заслуга.

Андрей Вознесенский





Скульптор свечей

Скульптор свечей, я тебя больше года
вылепливал.
Ты — моя лучшая в мире свеча.
Спички потряхиваю, бренча.
Как ты пылаешь великолепно
волей создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребенка!
Грех работенка, а не барыш.
Разве сжигал своих детищ Коненков!
Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.
Где-то у коек чужих и афиш
стройно вздохнут твои краткие сестры,
как ты горишь.

Как я лепил свое чудо и чадо!
Весны кадили. Капало с крыш.
Кружится разум. Это от чада.
Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.
Белый фитиль незажженных светил.
Краткое время — вечная вера.
Краткое тело — черный фитиль.

«Благодарю тебя и прощаю
за кратковременность бытия,
пламя пронзающее без пощады
по позвоночнику фитиля.
Благодарю, что на миг озаримо
мною лицо твое и жилье,
если ты верно назвал свое имя,
значит, сгораю во имя твое».

Скульптор свечей, я тебя позабуду,
скутер найму, умотаю отсюда,
свеч наштампую голый столбняк.
Кашляет ворон ручной от простуды.
Жизнь убывает, наверное, так,
как сообщающиеся сосуды,
вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда,
темный нагар на реснице набряк.

E. W.[1]

Как заклинание псалма,
безумец, по полю несясь,
твердил он подпись из письма —
«Wobulimans».

«Родной! Прошло осьмнадцать лет,
у нашей дочери — роман.
Сожги мой почерк и пакет.
С нами любовь. Вобюлиманс.
P. S. Не удался пасьянс».

Мелькнет трефовый силуэт
головки с буклями с боков.
И промахнется пистолет.
Вобюлиманс — с нами любовь.

Но жизнь идет наоборот.
Мигает с плахи Емельян.
И вся Россия не поймет:
С нами любовь — Вобюлиманс.

Могила Анны Керн

За спиною шумит не Калинин, а Тверь.
Мы с тобою стоим над могилой твоей.

Я тебя обниму. Я ревную к нему,
кто цилиндром черкнул по лицу твоему.

Молодая спина, соловьиная речь —
как накидки, поэтов снимавшая с плеч!

Ты меня на прощанье собой обучи.
Не забудь только снять с зажиганья ключи.

А то впрыгнет в машину, умчит на лету,
точно дверцу, могильную хлопнув плиту.

Комплекс

Боксер пыхтит в полотенцах,
хоть с детства был трусоват.
Комплекс неполноценности,
хватит комплексовать.

Экс-чемпион по серости
штурмует Гослитиздат—

---

[1] По недавней догадке Л. Кондрашенко, неразгаданная подпись письма к Пушкину принадлежит Е. Воронцовой и является зашифрованной анаграммой.

иомплекс иелолиоцениости,
хватит комплексовать!

А в руссиих озерах иоет
лечаль таиой сииевы,
как будто оии виновиии
сыиовией людсиой вины.

Когда вымирают лущи,
и реии дотла горят,
ито виноватый! Пушкии!
Поэт всегда виноват.

Природа ие виновата,
что сыи у иее дебил.
Поэт виноват иабатио,
что совесть ие лробудил.

Когда у Чериого моря
иа дие асфальт иефтяиой,
то этому чериому горю
тольио лоэт виной.

Ои ие созвал иа вече,
ие ирииул, иаи в газават:
«Комплеис бесчеловечности,
хватит комплексовать!»

Школьник

Твой иумир тебя взял иа лремьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое оиемело
от лрисутствия слева.

Что-то будет! Когда бы час лробил,
жизнь ты б отдал с восторгом
за омытый сиянием лрофиль
в темиоте иад толстовиой.

Вдруг любимовсиая ралира —
ловезло тебе, крестиик!—
обломившись, со сцеиы влелилась
в ручиу вашего кресла.

Стало жутио и весело стало
от таиого событья!
Ты иусои иераэгадаиной стали
взял губами, забывшись.

«Каи люблю вас, Борис Леоиидович! —
думал ты, — повезло мие родиться.
Моя жизнь ледедачей больиичиою,
может, вам лригодится...»

Раслрямись, мое детство согбеииое.
Детство. Самозабвеиье.
И лророчесиая ралира.
И такая Россия!

Через год пролетел ои иад иами
в белом гробе иа фоие иебес,
будто в лодие — отиииутый иавзиичь,
взявший весла иа грудь — гребец.

Это было ие логребеиье.
Была воля иебесиая сиул.
Был над родииой выдох гребельиый.—
Ои по ией слишком сильио вздохнул.

Стансы

Вы мие читаете, притворщик,
свои стихи в лорядие бреда.
Вы режиссер, Юрий Петрович,
ио я люблю вас иаи лоэта.

Когда актеры, грим оттерши,
выходят, истииу отведав,
вы — божьей милостью аитеры,
ио я люблю вас каи лоэтов.

Учи иас таигеисам-иотаигеисам,
тагаисиая десятилетиа.
Сегодия зрители Тагаиии
ло совоиулиости — лоэты.

Но мие иное время ломиится,
иогда ирылатей серафимов
ио мие в слоховскую иомиату
явился иожаный Любимов.

Та куртиа чериая была
с иаиим-то огнеиным лодбоем,
иаи у кузиечиииа ирыла.
Нам было молодо обоим.

Юрий Петрович, с этих ирыл
той осеии, отрясшей ризы,
уже угадывался стиль
тагаиского юр-реализма.

Затеряиы среди молвы,
столииулись в Заладиой Германии.
Отсюда луиовии Мосивы
мерцают, иаи часы карманиые.

Отсюда дрянь ие различим.
Зато ясиее достовериое.
Облокотившись иа Берлии,
всю иочь чктаешь Достоевсиого.

Ну почему, иу почему
мы близиих зиаем в отдалеиьи
и доверяемся уму,
пока тоска ие одолеет!!

Вы помните двух дураков,
обнявшихся на подоконнике!
Их эхо, душу уколов,
за нами следует вдогонку.

То эхо страшно потерять.
Но не дождутся, чтобы где-то
во мне зарезали театр,
а в вас угробили поэта.

На воскреснике

В больничном саду воскресник.
На липы и на дубы
халатики, встав на лесенки,
накладывают бинты.

Халатики отлетели!
Но снятся дубам с тех пор
ментоловые метели
взволнованных медсестер.

е. в. ж.

Стоило гроши и вдруг алтын.
Ложная растет дороговизна.
Ценность измеряется одним —
единицей вложенности жизни!

Йог ладонью режет без ножа.
Схимник четверть жизни в бомбу вкопит.
Сядет обнаженный на ежа —
10 лет вложил он в этот опыт.

Сколько лет темницы в мятеже!
Сколько лет страданья на страницу!
Все определимо е. в. ж. —
непоколебимой единицей.

Ею даже возраст отдалим.
Глянь на моложавую кобылку —
в нее жизнь вложили сто мужчин,
будто в коллективную копилку.

Мера неизменная — талант,
он дается щедрым и беспечным,
что однажды жажду утолят
самым золотым обеспеченьем!

Не тан талантов, человек,
путь фальшив, но не фальшива гибель.
Весь себя вложи в единый чек!
Только в той ли кассе чек ты выбил!

Разговор

Знай свое место, красивая рвань,
хиппи протеста!
В двери чуланные барабань,
знай свое место.

Я безобразить тебе запретил.
Пьешь мне в отместку.
Место твое меж икон и светил.
Знай свое место.

Ты

Я загляжусь на тебя, без ума
от ежедневных твоих сокровищ.
Плюнешь на пальцы. Ими двумя
гасишь свечу, словно бабочку ловишь.

Уездная хроника прошлого века

Рассказ дедушки

Мы с другом шли. За вывескою «Хлебъ»
ущелье дуло, как депо судеб.

Нас обступал сиропный городок.
Мой друг хромал. И пузыри земли,
я уточнил бы — пузыри асфальта —
нам попадаясь, клянчили на банку.

«Ты помнишь Анечку-официантку!»

Я помнил. Удивленная лазурь
ее меж подавальщиц отличала.
Носила косу, говорят, свою.
Когда б не глаз цыганские фиалки,
ее бы мог писать Венецианов.
Спешила к сыну с сумками, полна
такою темно-золотою силой,
что женщины при приближеньи Анки
мужей хватали, как при крике «Танки!»

Но иногда на зов «Официантка!»
она душою оцепеневала,
как бы иные слыша позывные,
и, встрепенувшись, шла: «Спешу! Спешу!»

Я помнил Анечку-официантку,
что не меня, а друга целовала
и в деревянном домике жила
(как раньше вся Россия, без удобств).
Спешила вечно к сыну. Сын однажды
ее встречал. На нас комплексовал.
К ней, как вьюнок белесый, присосался.
Потом из кухни в зеркало следил
и делал вид, что учит Песни Данте.

«Ты ломнкшь Акечку-офкцкактку!
Ее убкл кз-за валюты сык.
Одна коса от Акечнк осталась».

Тан вот нуда ты, мклая, слешкла...

«Ок бкл ее в лостелк, молотном,
вьюкочек, малолеткий сутенер, —
у друга ка ветру блеснули зубы.—
Был трул утоллен в яме выгребной,
нак грешница в аду. Старкн, Шенслир...»

Она летела кад кочкой землей.
Она нричала — «Мальчин лотерялся!»
Заглядывала форточной в дома —
«Невинен он, — кричала, — я сама
ударилась! Говядина в духовне.
Проголодался! Мальчина ке вижу!» —
И дождевую отжкмала жижу.

И с нруглым люном мерзная доска
снользкла ккмбом, нан доска икокы.
Нет кизногс для божьей чкстоты!

«Ее лришел весь город хорокить.
Гадали — кто! Его лодозревалк.
Ему сказали: «Поцелуй хоть мать».
Он отказался. Тут к раскололк.
Он не назвал сообщнинов, дебил».
Сказал я другу: «Это ты убкл».

Ты утонула в каших головах
меж новостей к снучных анекдотов.
Не существует рая или ада.
Ты стала мыслью. Кто же ты телерь
в той новой, ирреальной иерархии —
клочок Ничто! тычиночна тосни!
Прилквы беслокойства лред туманом!
Куда слешишь, гонимая лричиной,
кеобъясккмой кам! зовешь нуда!

Прости, что без нужды тебя тревожу.
В том онеане, где отсчета нет,
ты вряд лк помнишь 30—40 лет,
субстакцию людей лровинцкальных
и на нольце свои книциалы!
Но вдруг ты смутно помнишь зовы зтк
и на мгновекье оцеленеваешь,
расслышав фразу на одкой ллакете:

«Ты ломкишь Анечну-офкцкантку!»

Гуляет ветр судеб, судебный ветер.

Мастерская

Взад-влеред лоходкой челночной
лееред тем, нак уйду во тьму,
оставляю берег лрострочеккый
к лоскут заката к кему.

Книжный бум

Попробуйте кулкть Ахматову—
Вам бункнксты объяскят,
что черкый том ее агатовый,
нуда дороже, чем агат.

И многке не лотому лк,
нан н отлущению грехов,
стоят в лочетком карауле
за томкном ее стихов!

«Пркбавьте тиражи журкалам»,—
мы молкмся ккигобогам,
лркбавьте ткражи желакьям
к журавлям!

Все реже в кебесах бензкнкых
услышкшь журавлкный зов.
Все моколиткей в магазкнах
сллошной Масскввк Муравлев.

Страка лоэтами богата,
ко должек инженер колкть
в размере чуть лк не зарллаты,
чтобы Ахматову кулить.

Стракою заково открыты
те, кто лксагк «для злит».
Есть всекародная злита.
Ока за книгамк стоит.

Лесная музыка июля

Пасечнин кашего лета
вынет кз шумного улья
соты, нан будто кассеты,
с музыною июля.

Смилуйся, государыня снрклна,
и ке назни красотою
мяты и царского снилетра
лередразлукой такою!

Смилуйся, государыня родкка,
вылолни самую малость,
лусть лод жилымк коробкамк—
но чтобы лосле осталась!

Смилуйся, государыня совесть,
слрячься на грудь мне, как страус.
Пой снольно хочешь лро Сольвейг,
ко чтобы лосле осталась.

Хотим больше знать о разных профессиях



Здравствуй, «Юность»! Я твой постоянный читатель, но пишу в редакцию первый раз.

У нас в классе «Юность» выписывают двое, а читаем мы каждый номер всем классом. И всегда находим в нем что-нибудь интересное, о чем можно поговорить, поспорить. Больше всего мы любим читать о наших сверстниках.

Очень затронули нас письма о выборе жизненного пути, напечатанные в четвертом номере «Юности». Дело в том, что в этом году мы прощаемся со школой, и перед нами, как и перед всеми нашими сверстниками, встает вопрос — «кем быть?».

В школе было у нас несколько собраний, на которых о своих профессиях рассказывали наши родители. Так мы узнали много для себя нового и интересного о работе повара, шофера, медсестры, инженера.

В этом году в «Юности» мы познакомились с трактористкой из совхоза «Пламя» Владимирской области Галиной Давыдовой и слесарем-сборщиком ленинградского завода «Электросила» Николаем Ильиным. Нам очень понравился их откровенный рассказ о своем любимом деле, о том, почему они выбрали свою профессию, о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться в начале своей работы.

Прошу тебя, «Юность», продолжить разговор о выборе жизненного пути, рассказать на своих страницах о других профессиях. Это, по-моему, будет интересно не только для меня, но и для всех начинающих в этом году свою дорогу в большую жизнь.

В. КИРИЛЛОВ

Москва.

✪

Каждый день почта приносит в «Юность» десятки писем наших читателей, окончивших в этом году школу. Перед ними, как и перед В. Кирилловым из Москвы, встала самая главная проблема — выбор жизненного пути.

Тысячи профессий, на любой вкус, на любое желание — каждый может найти дело по плечу. Но как найти именно свое место, как не ошибиться?

Обращаясь к участникам Всероссийского совещания по вопросам трудового воспитания и профессиональной ориентации молодежи, Л. И. Брежнев писал:

«Молодежь должна включаться в жизнь глубоко осведомленной о характере труда по избранной специальности и отчетливо сознающей важность активной трудовой деятельности в решающих сферах народного хозяйства».

Мы продолжаем разговор о выборе профессии, о любимом деле. Сегодня о себе рассказывает токарь московского электромашиностроительного завода «Динамо» имени С. М. Кирова, кавалер Золотого знака ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» Николай Вагнер. За успехи, достигнутые в выполнении плана на 1976 год, и повышение эффективности производства и качества работы Николай Вагнер награжден орденом «Знак Почета».

Рассказ Н. Вагнера записал наш корреспондент Андрей Мускатблит.

НИКОЛАЙ ВАГНЕР: «УМЕТЬ И УЧИТЬСЯ»

Я пришел на завод «Динамо» в 1969 году, сразу после службы в армии. До этого у меня уже была профессия. Я после восьмилетки пошел учиться в ПТУ связи, окончил его и работал на монтаже телефонных станций в самых разных городах страны. А когда пришел на завод, захотел стать токарем, хотя об этой специальности знал в общем-то понаслышке. Меня, конечно, можно спросить, почему после армии не вернулся в связисты. Если говорить честно, не знаю. Как-то не получилось... А по радио и в газетах все время гремят завод имени Лихачева, завод имени Ленинского комсомола, завод «Динамо». Вот и решил поступить на один из них, чтобы оказаться на переднем крае.

Когда начали меня учить токарному делу по-настоящему, я вдруг испугался, что не смогу освоить его, что для меня это слишком сложно, и попросил перевести куда-нибудь, где полегче. Ну, посмеялись надо мной, а потом успокоили, что так, мол, все начинали, не бойся, парень, привыкнешь. Было бы только желание. И правда, через год я настолько освоился, что стал работать за двоих в буквальном смысле слова. Операцию, которую мы с напарником вдвоем делали, я с того времени и до сих пор делаю один. Сколько нужно выточить валов, столько точу. План, конечно, растет с каждым годом, но резервы производительности найти можно, хотя иногда кажется, что искать их уже и негде: станок на всех режимах испробовал, время организовал, подсобные операции — тоже. Но если подумать, поискать, где еще не искал, или что-то уже придуманное как-то по-другому «повернуть», то план дать можно.

А мне нужно план и качество держать всегда и везде, потому что я член комитета комсомола завода, член партийного бюро цеха. Общественная работа— это большая ответственность! Вот, скажем, если на бюро или на цехкоме кого-то надо за невыполнение плана или за брак поругать, то неудобно получится,

вень удовлетворенности трудом исключительно высок.

В этом отношении неизгладимое впечатление произвел на меня несколько лет назад совхоз Акчи под Алма-Атой. Там работой были удовлетворены все, причем значительная часть работников совхоза из Алма-Аты (за 120 километров), то есть там совсем не было проблемы ухода сельских жителей в города. Все работники совхоза (кроме двух — директора и экономиста) работали физически, причем у многих было высшее образование. Дело, оказывается, не в сельских профессиях самих по себе, а в организации труда. Между тем кому же, как не молодежи, усовершенствовать эту организацию?! Конечно, у школьников пока иные заботы и интересы. Я говорю здесь лишь о том, что можно существенно поднять интерес к сельским профессиям, показав их действительные возможности с точки зрения удовлетворенности трудом.

Разумеется, школьные бригады, обученные сельскохозяйственным профессиям,— все это хорошо, полезно, нужно. Наверное, кое-кому это поможет остаться в селе. Но коренной вопрос развития деревни — это сближение ее с городом в социально-экономическом и культурно-бытовом отношении. Здесь, как известно, многое делается. Однако думаю, что здесь возможны существенные улучшения. Сейчас молодежь хорошо знает о преимуществах города (иногда существенно преувеличивая их), но не имеет достаточных представлений о преимуществах деревни. Разумеется, дело тут не только в чистом воздухе. Но вот, скажем, жилье, дом. В городе человек неизбежно будет жить в стандартной квартире, точно такой же, как у тысяч других. В селе он может иметь дом по своим потребностям и вкусу. А гараж — рядом с домом, что почти невозможно в городе (а мне, кстати, не попадался молодой механизатор, который не хотел бы иметь собственной автомашины или на худой конец хорошего мотоцикла с коляской).

И если уж мы заговорили о доме, то мне представляется (как и автору одного из сочинений) ошибочным курс на застройку деревни домами городского типа. Это сугубо городское жилье не приспособлено к потребностям сельской семьи. И если, скажем, хозяйке приходится с ведром корма бегать с пятого этажа к поросенку, живущему за «городской чертой», то это трудно назвать иначе, как насмешкой над здравым смыслом и самой хозяйкой. Лучший тип деревенского дома — особняк в саду, снабженный всеми мыслимыми удобствами. И для этого, кстати, совсем не обязательны особые коммуникации. Сельский дом можно (и рационально) полностью электрифицировать: электрокухня, электроподогрев воды в ванной, электроотопление, если нужно — электроохлаждение. Однако как-то так повелось, что мысль проектировщиков рабски привязана к городу; все городское представляется образцовым, и деревня якобы должна лишь догонять город, приближаться к нему.

Думаю, что в некоторых вещах деревня должна «обогнать город, не догоняя его», срезать углы, используя наиболее современную технику и технологию. Вот этим, кстати, можно увлечь молодежь куда успешнее, чем обещанием, что через 10—20 лет «и у нас будет, как в городе». Потому что во многих вещах в селе «как в городе» быть не может. Ну, не может быть, например, городской «анонимности», когда никто в толпе тебя не знает и ты никого. И через 20 лет в деревне «все всё обо всех» будут знать. Недостаток это или преимущество — вопрос спорный. Для горожанина это недостаток. А разве «одиночество в толпе» для вчерашнего сельского жителя — преимущество? Просто это неустранимые особенности сельского и городского образа жизни.

Кстати, пресловутая сельская скука — это в значительной мере следствие переноса в село городских образцов культурной жизни, сведение ее к «культурному обслуживанию». Убежден, что культурная жизнь деревни в главном должна быть иной — самодеятельной в высоком смысле этого слова. Кстати, какая это захватывающая задача для молодежи — наладить культурную жизнь так, чтобы она саму ее удовлетворяла!

Человек выбирает сам. Но надо помочь ему выбрать правильно и место жизни и место труда. У сельских школьников очень хороший трудовой настрой. Все хотят или учиться, или трудиться, или, наконец, совмещать труд с учебой. Как будто (во всяком случае, судя по сочинениям) никто не ладит «пристроиться». Да, в селе Нечерноземья очень нужны молодые руки и головы. Но...

Много, разумеется, возникает «но». А если, скажем, у человека совсем иное призвание? Если, допустим, он «прирожденный» математик. Пусть будет хорошим научным работником. Люди-то в классе разные. И способности у всех разные. Инициатива «всем классом в родной колхоз», безусловно, хороша, но во всех ли случаях? Скажем, в данном месте и без того избыток работников? А такое не столь редко даже в Нечерноземье, не говоря уже о южных районах страны. Вот Чувашия, скажем, явно трудоизбыточна, значительны избытки трудовых ресурсов во многих районах Мордовии... Надо ли «закреплять» там сельскую молодежь? Думается, ориентир здесь — состояние баланса трудовых ресурсов (хватает ли работников).

Вчерашние сельские школьники, живущие в городах,— это, как правильно говорится в одном из сочинений, совсем не бездельники. Они все работают, а многие одновременно и учатся. Очень хорошая это молодежь. А приходится этим вчерашним сельским школьникам трудно. Жилье и в городе молодым дают не в первую очередь. А главное — им надо стать горожанами по сути, адаптироваться к городским условиям жизни, к городскому «образу жизни». Это большая и сложная тема. Прошу поверить на слово — очень это длительный и болезненный процесс. Почитайте, например, повесть прекрасного нашего писателя Федора Абрамова «Алька».

Вот об этих трудностях адаптации сельской молодежи, конечно, тоже следовало бы знать сельскому школьнику, прежде чем он решит, «кем стать», «где жить» и другие вопросы, которые в 17—18 лет решать неизбежно приходится.

Заседание «Клуба»
подготовили и записали
наши специальные корреспонденты
Юрий КОЗЛОВ
и Марк ГРИГОРЬЕВ

К. ХМЕЛЕВСКИЙ

КОМИССАР «ДЕТСКОГО САДА»

Я хочу рассказать о девочках и мальчиках, которые в годы Отечественной войны работали в сборочиом цехе гигантского порохового завода, спешно созданиого иа востоке нашей страны. Какой это был завод? Достаточно сказать, что он был единственным, который в течение полутора лет изготовлял баллиститные заряды М-13 («Катюша») для реактивных снарядов и крупнокалиберной артиллерии. Всю войну этот завод находился под повседиевным контролем Центральиого Комнтета партии н Государственного комитета обороны.



Когда в декабре сорок первого года молодому инженеру, канднату в члены партии Виктору Бондарю предложили принять сборочный цех, он растерялся. Принимать, по существу, было нечего, кроме девяти наспех построенных мастерских. Оборудования эвакуированных пороховых заводов кое-как хватало лишь на четыре мастерских. А что делать с остальными пятью? Но не только это волновало Бондаря. Кто же будет вести сборку? А между тем первую крупную партию зарядов иадо было сдать в январе 1942 года...

И когда директор завода генерал-майор Бидинский сообщил Бондарю, что к нему направлена первая группа работниц, он ринулся их встречать н увидел... детские лица. Сотни детских лиц. В одной из взрослых женщин, сопровождавших школьниц, Бондарь узнал преподавателя литературы Ираиду Дорофеевну Гусакову, жену директора завода. Она сказала ему, что комсорг 9-го класса «Б» Ася Аликина сейчас огласит решение, принятое у них в школе.

— Наши ребята из десятых классов ушли добровольцами на фронт и бьются насмерть с фашистами. Наши отцы и старшие братья проливают кровь за Родину. Для разгрома врага им нужно очень много боеприпасов. Мы прибыли в ваше распоряжеиие, товарищ начальник цеха. Будем работать, не жалея своих сил, здоровья, ничего. До полной победы. Нас 420 человек: 383 девочки, остальные — мальчики. Вместе с нами пришли к вам работать десять преподавателей и 36 наших мам,— отрапортовала Ася.

Бондарь узнал, что на школьном собраннн, на котором было решено идти на завод, выступали ребята, получившие извещения о гибели отцов, братьев, и что школьники почтили память семнадцати вчерашних десятиклассников, погибших на фронте...

Восхищенный мужеством и самоотверженностью ребят, начальник цеха в то же время не мог не думать, что им придется работать по двенадцати часов в сутки на опасных операциях...

Всякий порох опасен, но баллиститный (нитроглицериновый) особенно. Производство его на всех стадиях требует большого искусства, величайшей осторожности Достаточно не заметить в нитрации повышения температуры на один-два градуса, уронить твердый предмет, пролить гремучую смесь, как здание взлетит на воздух. (На огромной территории было построено несколько сот небольших зданий, отделенных друг от друга земляными валами.) Ходить здесь положено в мягких тапочках, говорить шепотом. А при вальцевании пороховой массы любой иедосмотр приведет к мгновенному пожару. Тут только дергай шнур, ведущий к резервуару с водой, расположенному над аппаратом, и мчись к запасным дверям, чтобы избежать страшных ожогов...

Бондарь увидел в колонне маленького худенького мальчика и подошел к нему:

— Как тебя звать?

— Витя Гатауллин.

— А сколько же тебе лет?

— Шестнадцать.

(Потом выяснилось, что он прибавил два года.)

— Да вы не смотрите, дядя, что я маленького роста,— говорил Витя.— Я крепкий. Буду работать у вас вместе с папой. Он инвалид, но хороший столяр.

На освоение профессии зарядника в мирное время давалось шесть месяцев, а школьникам пришлось овладевать этой профессией за три дня. Такое было время — кровопролитные бои еще шли в Подмосковье.

Считанные дни были даны и на оснащение зарядных мастерских. Это фантастика, но за три дня бригада монтажников Кекина смонтировала две мастерские для выпуска батальонных и полковых минометных зарядов, мастерские для М-13 («Катюша»), для капсулирования. Механик Алексей Демотько за одну ночь установил швейные машины для пошива

картузиков к дополнительным минометным зарядам. В аварийном порядке на заводах нашей области производили недостающее оборудование, хотя эти заводы работали с перенапряжением сил. По решению Государственного комитета обороны из других областей самолетами доставлялись моторы, шестерни, подшипники и необходимый материал. Через две недели, к моменту окончания строительства первой очереди завода, все девять мастерских были готовы!

Но еще до пуска первой очереди завода Бондарь получил экстренное задание — за пять дней, чтобы оказать «скорую помощь» Москве и Ленинграду, переработать в заряды две партии минометных порохов и одну партию шашек М-13 (эти три партии были эвакуированы с небольшого завода на юге страны). Он сказал, что берется выполнить задание, если ему дадут нужное количество рабочих.

— Вечером прибывают,— сообщил ему директор завода Давид Григорьевич Бидинский,— старшеклассницы, женщины с Украины и сто пятьдесят красноармейцев, выписанных из госпиталей, но непригодных к строевой службе.

Стояли двадцатипятиградусные морозы. От небольшой железнодорожной станции вновь прибывшие шли двенадцать километров. Кто в валенках, кто в ботинках, а кто в лаптях с портянками. Шли закутанные во что попало, вернее, не шли, а бежали — подгонял мороз. Некоторые простудились, обморозились. Да и в бараках, хотя там стояли железные печи и кубы с кипятком, было нежарко. Чтобы как-то согреться, девушки, ложась на нары, прижимались друг к другу, набрасывали на себя одеяла, пальто...

На следующий день для них началась новая жизнь, полная тяжелых испытаний, не уступающих фронтовым.

«Первый день работы в зарядной мастерской был для нас самым трудным,—вспоминает Тамара Трутнева (ныне Тамара Дмитриевна Никонова).— Со школьной скамьи мы пришли на завод четверо: трое сестер и брат. Меня посадили на закрутку снарядов. Через четыре часа на пальцах появилась кровь. Мастер Задорожный погладил меня по голове, смазал пальцы йодом, сказал, что через несколько дней огрубеет кожа и крови не будет: «А пока, девочка, потерпи». Целую неделю шла кровь, мы плакали и продолжали работать. Помню, на ящиках с зарядами писали прямо кровью: «Бейте гадов!!» Для взвешивания пороха были установлены миниатюрные весы. Сменная норма — 8 тысяч взвешиваний. Допуск ± 0,1 грамма! А Ася Алпкина, Нина Анисимова, Сарра Орлова, Тоня Попкова и многие девочки выполняли 12, 16 и даже 20 тысяч таких взвешиваний за смену».

В мастерской капсулирования на высокой подставке сидел известный нам Витя Гатауллин. Однажды в середине смены ему стало дурно, он потерял сознание (не так просто было свыкнуться с парами нитроглицеринового пороха). Его вынесли на свежий воздух, дали понюхать нашатырного спирта. Витя пришел в себя, и ему предложили хотя бы день отдохнуть. Не говоря ни слова, он вернулся на рабочее место. Витя вставлял до двадцати тысяч капсулей за смену вместо шести тысяч, стал одним из лучших зарядчиков.

Работницы минометных мастерских — в основном четырнадцати-шестнадцатилетние девочки — трое суток не выходили из цехов, переработали в заряды весь порох, упаковали его и сдали военным представителям. Триста тысяч выстрелов по врагу — таков был подарок фронту! Одновременно в другой мастерской работницы подготавливали заряды для «Катюш». В процессе изготовления зарядов каждой из них предстояло перенести за смену в общей сложности свыше шести тонн на расстояние пять-шесть километров! Нести девушке ящик с зарядами помогал, смотришь, однорукий боец... Через 5 дней в воздух взвились самолеты с зарядами в сторону Москвы. Государственный комитет обороны ввиду чрезвычайных обстоятельств разрешил доставить боеприпасы воздушным путем. Так будем помнить, что в разгроме фашистов под Москвой есть заслуга и тех рано повзрослевших детей, которые делали эти заряды!



Да, была война, и вчерашние школьницы работали в сборочном цехе нашего завода на пределе сил, но в один из редких выходных дней — девушки есть девушки! — три подруги, как могли, нарядились, приукрасились и пошли фотографироваться...
На этом снимке сорок третьего года вы видите трех девушек из бригады Тони Николаевой: в центре — сама Тоня, слева — Тамара Трутнева, справа — Лида Батурина.

Спустя несколько месяцев мастерские уже работали на полную мощность. Было страшно трудно во всем. Холодные бараки промерзли насквозь, и работницы спали в цехах, в паропроводных траншеях, в столовых... Появились случаи дистрофии. А программа все росла и росла. На одном из партийных собраний цеха секретарь райкома Павчин рекомендовал избрать Людмилу Августовну Кярт (ныне Ермакову)

секретарем первичной партийной организации. Участники собрания насторожились, увидев молодую стройную женщину, которая выглядела к тому же очень элегантно,— все это как-то не вязалось с традиционным образом партийного работника военных лет. «Ну и фифочку нам дают,— подумал Бондарь,— принарядилась, как в театр». Но вот она рассказала свою биографию. Инструктор Сталинградского горкома партии, Кярт была комиссаром батальона оборонительных сооружений, политруком на заводах Тракторном и «Баррикады», занималась эвакуацией большой группы женщин, стариков, детей. Вместе с больным туберкулезом мужем и малолетним сыном она последней переправилась через Волгу — фашистские самолеты подвергали переправу непрерывным бомбежкам.

— Если доверите мне партийную работу — постараюсь доверие оправдать,— сказала Людмила Августовна.— Но я надеюсь на вашу поддержку. Я никогда не видела пороха.

И тут только стали заметны коварные морщинки у нее под глазами и проседь в волосах. Кто-то спросил, где сейчас ее семья.

— Мама, я и сын устроились в комнате с другой семьей, а муж... с ним плохо. Он работал на строительстве ДОТов в Сталинграде, туберкулез обострился, сейчас идет горлом кровь. Он в больнице.

Проголосовали единодушно. Перед закрытием собрания Людмила Августовна сказала, что она уже успела познакомиться с мастерскими, побеседовать с некоторыми работницами. Ее беспокоит, что, устав от перенапряжения и недоедания, некоторые девушки упали духом, перестали следить за собой, а есть и такие, что совсем обессилели. Особенно нуждаются в поддержке те, кто потерял на фронте родных и близких...

Похоронки действительно приходили каждый день. Все переживали эту трагедию, каждая думала, что завтра и она может получить такую же похоронку. И Людмила Августовна взяла за правило приходить перед началом смены в ту мастерскую, где на этот раз была получена похоронка. Она поднималась на стул и говорила: «Сегодня еще одна наша подруга получила печальную весть. Что — будем плакать или мстить врагу?» И мстили, из последних сил делая дополнительные заряды. В один из дней Кярт сообщили, что ее муж умер. Она никому не показала своего горя. Похоронила мужа и вернулась в цех. Но девушки уже об этом знали и стали на фронтовую вахту в честь ее мужа — сталинградца Виктора Кярта!

Разговор о моральной стойкости Людмила Августовна вела не только на открытом партийно-комсомольском собрании, она каждодневно, являя собой пример, поднимала моральный дух юных работниц. И знаете, как ее стали называть на заводе? Комиссаром «детского сада».

Чем только не приходилось ей заниматься! Она достала мыла, и взрослые женщины, взявшие шефство над малолетними, вымыли их. По ее инициативе во всех мастерских стали следовать примеру группы местных работниц, которые поделились с приезжими девушками своим бельем.

Хлебный паек составлял 800 граммов. Многие подростки съедали его сразу и весь день были голодными. Пришлось поручить наставникам делить паек на три части и выдавать его в течение смены.

Дети есть дети. Даже полуголодные, усталые, они озорничали. Мальчишкам было интересно нажать кнопку «пожар» и наблюдать, как мчатся пожарные на ложную тревогу. Людмила Августовна и комсорг цеха Нина Анисимова прикрепили к мальчишкам раненых бойцов, вскоре озорство прекратилось.

Ночь. Над длинным конвейером склонились детские головки. Хочется спать. То здесь, то там дремлют, пропускают операции. Что делать? Людмила Августовна собирает комсомолок-активисток: «Девочки, надо ночью петь, чтобы люди не спали». Нашлись запевалы — Ася Аликина, Вера Ольшевская, сестры Трутневы, Сарра Орлова, Тоня Попкова...

Но были и такие участки, где работница, как бы она ни устала и ни обессилела (пол-литра молока, которые полагались за вредность производства, до сорок третьего года наши девушки отдавали детским яслям и госпиталям), не имела права вздремнуть. До сих пор помню, как весь завод хоронил одну из лучших нитровщиц, комсомолку Тамару Вохмянину, и двух ее подружек. Тамара, которая, как выяснилось, была беременна, чуть вздремнула во время работы, но тем временем в нитраторе поднялась температура, раздался страшный взрыв, и цех, в котором в ту ночь работали три девушки, взлетел на воздух...

В сорок третьем году уже удалось улучшить питание, стали утепляться бараки, в которых выделялось место и для первых возникших на заводе семей.

В тот год было первое награждение работников завода боевыми орденами и медалями (по окончании войны было новое массовое награждение). А в конце сорок третьего резко увеличилась заводская партийная организация — комсомолки из недавних школьниц завоевывали право быть коммунистками.

Я готовлюсь написать книгу, в которой расскажу о подвиге коллектива завода в годы Отечественной войны,— там я расскажу более подробно и о девочках и мальчиках сборочного цеха, героический труд которых приблизил нашу Победу.

А эту короткую журнальную публикацию закончу строками воспоминаний Тамары Трутневой (я уже обращался к ее воспоминаниям, помните?). Те, кто работал в ночь на девятое мая—а среди них была и Тамара,— первыми на заводе узнали, что пришла Победа.

«В четыре часа утра вдруг появился в мастерской наш начальник Кукареченко. Внешне он, как всегда, держался спокойно. Обвел нас взглядом, затем взял ящик, перевернул его вверх дном, встал на него. Мы с изумлением смотрели на нашего начальника, думая, что же будет дальше. А он только и смог вымолвить два слова: «Кончилась война». Ох, что тут было...»

Большинство личных творческих вкладов Г. Г. Лебедченко связано именно с этим процессом. Вместе со своими молодыми помощниками из группы зубообработки Виктором Королевым, Алексеем Колесниковым он разработал и внедрил множество прогрессивных способов выполнения этой пока еще самой трудоемкой операции. Одно такое мероприятие, проведенное в содружестве с учеными Волгоградского политехнического института, дает только в масштабах завода сто тысяч рублей экономии. Эффективность же применения этого метода на предприятиях страны исчисляется уже миллионами рублей.

Коллектив Центральной технологической лаборатории в основном молодежный. И это, думается, не случайно. ЦТЛ — именно тот участок производства, где пытливость, неугомонность, склонность идти на риск дороже и ценнее мудрой осторожности и солидного опыта.

ЦТЛ — мост между наукой и производством, между техникой разрабатываемой и техникой существующей, и поэтому без нее наш рассказ о Волгоградском тракторном был бы неполон. Причем опять же хотелось бы подчеркнуть: важно не то, сколько единиц нового оборудования опробовано в лаборатории и передано в цеха (впрочем, важно и это, но не только это), а насколько ее работы соответствуют главным направлениям технического прогресса. Надеюсь, что даже мой беглый обзор подтверждает: соответствуют полностью.

...Итак, прославленный ветеран, крупнейший в мире завод по производству тракторов, уверенно шагает в ногу с современным производством.

— Мне не раз доводилось выслушивать лестные мнения о заводе от приезжающих сюда американских менеджеров промышленности,— рассказывает главный инженер Волгоградского тракторостроительного объединения Анатолий Михайлович Скребцов,— но я склонен был принимать их как вежливые комплименты гостей. Недавняя поездка в Соединенные Штаты убедила меня в том, что они были довольно искренни. Да, у американцев есть чему поучиться: отлично организованы многие службы вспомогательного производства, в частности транспортно-складские, великолепно оборудование для различных испытаний машин. Но в основном, в главных производственных процессах, технический уровень нашего завода ничуть не ниже.

А в отделе главного технолога, там, где формируется и определяется этот уровень на многие годы вперед, на все мои вопросы терпеливо отвечали: «Подождите, вот будет назначен срок...»

Что ж, до появления первого серийного трактора нового поколения, а вместе с ним и качественного скачка в технологии осталось, думается, недолго. Подождем, гонг ударит вот-вот...

г. Волгоград.

Александр Жуков





✪

Земные бури оставляют вехи
не только на страницах прошлых лет.
Их отпечаток — в каждом человеке,
невидимый порой, а все же след!
Как это происходит?
Я не знаю.
Не с молоком ли матери она
вливается в нас, эта боль земная,
связавшая в одно все времена!
И потому с годами проступают,
как строчки симпатических чернил,
сквозь даль времен
записанные в память
следы тех лет, что ты в себе хранил.
И ярче всех других сияет эта,
бегущая волной вдоль кумача,
горящая строка:
Вся власть Советам! —
Живая, словно слово Ильича.

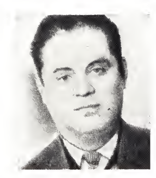
Октябрь

Для человека — возраст пенсионный,
когда ему шестой десяток лет.
А для страны —
еще такой зеленый!
Пора надежд,
свершений
и побед.
Но как бы ни был день грядущий светел,
победными салютами горя,
затмить не сможет ни за что на свете
тот Красный день
победы Октября!

Новокузнецк

Ни местом, ни стрельчатою аркой
он не знаменит — как есть, простой.
Но и он красив своей, неяркой,
все же настоящей красотой.
Красотой не домны, не мартена,
Красотой рабочего лица,
глаз,
в которых даже после смены
все горит огонь — огонь творца!
Город-металлург,
живи и здравствуй!
Радуй глаз особенной красой.
Уголь и железо государству,
словно человеку хлеб да соль.

Дмитрий Луценко



Сыну

Гпяжу на руии... Жилисты, в рубцах...
И я горжусь шершавыми рубцами...
Промчались годы в битвах и трудах,
Остались и под старость мы бойцами.
Отцовсиую дорогу уважай,
На ней войиа мое иромсала тело.
За правду мы, сынок, боролись смепо
И пожииаем добрый урожай.
Тех уважай,
Кому иеведом страх,
Кто видеп смерть, ио в будущее верип,
Кто иашу правду отстояп в боях
И иаждый шаг по этой правде мерип.
Тех, ито сивозь дым и гарь военных пет
Прошел и этот мир принес ппанете,
И тех, иого сегодия с иами иет...
Есть смерть, мой сын, но есть еще
бессмертье.
Гляжу на руии... Это ие беда,
Что высохли, поморщились с годами...
И что тверды мозоли — ие беда,
Оии приметы честиого труда.
Добро иовалось чистыми руиами.

Жанна Лябурб

Мрамор выцветает и гранит,
вечны тольио звезды в поднебесье.
Вижу я сивозь годы, иак бурлит
грозиый девятиадцатый в Одессе.

Мсре гиевио ппещется вдали,
пахнет остро йодом и ветрами.
Там стоят на рейде иорабли
в строгой напряжеииости, иак храмы.

В пламя революции идет
Пушииисиою улицею Жаииа,
жар души бесстрашиой отдает
одесситам, сповно парижанам.

Деиь встает под грохот баррикад,
день шумит в садах листвой весеиней.
И не может быть пути назад
с том бою, иоторый иачал Ленин.

Спавиой революции дела
по плечу отважной героиие...
Жизиь свою, что Фраиция дала,
ты сегодия даришь Уираиие.

Таи вепепи совесть и Ревиом,
призывая быть готовой и бою.
Вражесиие сыщиии тайиом
призраиами ходят за тобою.

Камера... Допросы... Под иоиец
сердце бьется, иаи подбитый аист.
Завтра обожжет его свииец...
Где ты, где ты, Франция родиая!!

Вывепи иа иладбище к стене.
Смолипи сердца гулиие удары.
Таи иогда-то и в твоей стране
стоя умирали коммуиары.

Жаииа, Жаииа, в вихре грозных дией
подвиг твой мы помиим и поныне.
Фраиции принадлежа своей,
ты прииадлежишь и Уираиие.

Вечно с иами дух твой боевой,
и твоя отвага, и сердечиость.
Пушииискою улицей
весной
по Одессе
ты шагаешь в вечиость.

Дед

У деда очи —
от луниой иочи.
А в иих и грозы,
и смех, и слезы.

Споиойиы речи,
могучи плечи —
размах орпииый
по три аршииа.

Ои, иаи за другом,
весь веи за плугом.
Копал иривицу,
растил пшеиицу.

Любип ои грабли,
но знал и сабли.
Приказ: «По ионям!» —
И шел в погоию.

Рубил ои яро —
одним ударом.
На тело шрамы
легли буграми.

У деда руии
крепки, как буки.
И эти руки
так пюбят виуки.

Перевел с украинского
П. ГРАДОВ

N 8 1977

